

Александр
Покровский

Система

рассказы и роман

инапресс

The book cover features a complex, abstract illustration in shades of blue and green. It depicts a series of interconnected, angular geometric shapes that resemble a staircase or a network of platforms. Several stylized human figures are shown in various poses, some appearing to be climbing or standing on these structures. The overall composition is dynamic and suggests a theme of navigating a complex system or structure.

АЛЕКСАНДР
ПОКРОВСКИЙ

СИСТЕМА

книга прозы



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНАПРЕСС
2004

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
П 48

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская

ISBN 5-87135-151-4

© ИНАПРЕСС, А. Покровский, 2004

РАССКАЗЫ



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ОТ МЕНЯ

Дорогой читатель! Что меня, по-твоему, подвинуло к написанию этих рассказиков? Ни за что не угадаешь. Меня подвинула любовь. Ибо только любовь, а не ее суррогаты, управляют этим миром. Любовь между пчелой и цветком, между волной и побережьем, между небом и землей, между особями, ходящими на двух ногах или на четырех, и, наконец, любовь между мной и моими персонажами.

Как-то звонит мне знакомый и говорит: «Саня, это ты написал “Мерлезонский балет”?» А я ему говорю: «Это я». — «Слушай! — говорит он мне. — Там же есть я!» — «Есть», — говорю, а он мне: «Здорово-то как! Я — есть! Ты и сам не понимаешь, как это здорово! Я так хохотал! И все нормальные тоже хохочут. Тебе, наверное, всякое говорят, но ты плюнь. Просто у них мозгов не хватает. Это ж мы, Саня, нату-

ральные мы, понимаешь? У нас теперь есть наше прошлое, а это значит, что у нас есть настоящее и будущее! Молодец, ты, Саня, вот что я тебе скажу!» — и повесил трубку.

А у меня после этих слов, дорогой мой читатель, так хорошо на душе стало, будто живой маленький огонек все-все внутри обошел и отогрел закоулки, будто потрепал меня кто-то по плечу и сказал: «Не дрейфь, Саня, прорвемся!» — и я, конечно же, в который раз полюбил, прежде всего себя, естественно, и в то же время позвонивший мне персонаж, и потом мы встретились с ним и обнялись, потому что как же не обняться со своим любимым персонажем из своих любимых книг.

Конечно, некоторые говорят: «Он на флот клеветет!»

Что им на это сказать? Идиоты. Бивни придурочные. Флот — это моя жизнь. Так как же я могу клеветать на свою жизнь? Да я ее обожаю, бараны! И вас обожаю, потому что вы входите в мою жизнь. И я тоже готов вас обнять. Вы только рога свои раскрутите, или лучше отпилите их к чертовой матери, чтоб с вами в одном помещении можно было находиться.

И замов я люблю. Я их люблю как явление.

А когда мне говорят, что теперь на флоте нет замов, то я не верю. Не может того быть. Это ж такая саламандра — сунь ее в огонь, ни за что целиком не сгорит.

Все равно где хвостик останется.

А если остался хотя бы от одного зама самый маленький хвостик, то скоро на том самом

месте будет уже стоять готовый целый зам, а потом от него — раз! — и отделился замуля, от которого — бум! — отпочковался замулька, а от него уже — шлеп! — отвалился земенок, от которого — бжик! — отделился заменыш — и вот уже дело пошло и поехало...

Эх, читатель, читатель... завидую я тебе.

Ты еще этих моих рассказиков не читал, а я-то их наизусть знаю.

Хотел бы я их сам никогда не читать, а потом вдруг найти, обнаружить, сесть в кресле поудобней, поставить перед собой стакан чая и подумать: «Ну, чего там Санька опять навалял?» — и часа на два погрузиться в свою прошлую жизнь, и чтоб никто меня не звал, не тормозил, не тревожил, и чтоб никто не вздрагивал, если вдруг я начну хохотать как совершеннейший, невозможный дурак, или если я стану плакать, как он же...

ОТСТРЕЛ ЛИЧНОГО СОСТАВА

«Во всем ощущалась околопедрость и седовласая зинь», — вот такой текст. Это чтоб слово «пиздец» лишний раз не говорить.

У нас был отстрел личного состава.

Что такое отстрел? Ну, это когда надо выполнять огневые упражнения, то есть всем экипажем вылезти из бидона в поле, потом гулкой рысью переместиться в сопочки, где уже из автоматов по мишеням и пулять.

Старпом у нас любит это дело. Главное, побольше патронов захватить, а при связях Анд-

рей Антоныча на складах родины это совершенно плевая задача.

Утром пошли в ущелье — там у нас стрельбище, три дохлые щита, — и расположились для стрельбы.

Андрей Антоныч и оцепление выставил, что и положено.

Как только по периметру на всех вершинах завиднелись их головы, последовала команда «на огневой рубеж шагом марш».

И зам за нами увязался. Не сиделось ему.

Вот почему зама нельзя на время стрельбы где-нибудь узлом привязать, я не знаю.

Андрей Антоныч сперва с большим сомнением смотрел на все его потуги отыскать в автомате как огонь переключается с автоматического на одиночный, а потом...

— А как тут огонь переключается? — это зам.

— Ой, бля! — это старпом.

— Дай сюда! — это опять старпом.

— Вот! — это он же. — Слушай, Сергеич, меня давно мучает вопрос.

— А что такое?

— Как это вам удалось Великую Октябрьскую революцию совершить? Вы же ни хрена не знаете!

— Так...

— Вот именно! Вам же электрочайник нельзя доверить — все равно без воды включите. Что ты держишь автомат, как египтянин пылесос. Это же оружие. Оно убить может. Нельзя его куда попало дулом направлять. Понял? А? В сторону мишени, я сказал, развернись. Ну! Уже

лучше. Помнишь куда нажимать надо? А? Ну, слава тебе, Господи!

И в этот момент старпома отвлекли. Обернулся он на какой-то посторонний вопрос Кобзева (сейчас все равно не вспомню), и в это мгновение зам, примкнувший щекой к автомату, преобразился, в глазах у него появилась лихая чертовина, после чего он вдруг присел на корточки и дал из автомата очередь.

Блин! От отдачи в плечо он на ногах не удержался, упал на спину, продолжая во все стороны из автомата шарашить.

Все, кроме старпома, мигом были на траве, на земле, а некоторые под травой и под землей. А оцепление, что вместо того, чтоб в стороны смотреть, вниз свои головы неразумные свесило, тоже тут же с криком полегло.

Старпом вырвал у зама из рук автомат и... чуть не дал ему в лоб прикладом.

Потом он сказал слово «дурень, блядь», а потом помог заму встать и затвердеть на ногах.

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

Лапездрючность как производная околоростости.

Это я так. Чтоб начать как-то.

Меня в патруль в поселок назначили.

То есть поступил я на сутки в распоряжение Витьки-штурмана, который у нас вечный дежурный по гарнизону. Старый и больной начхим вроде меня, сирого, ходит в патруль прежде все-

го от безысходности. Назначили нам этот патруль просто за два часа до заступления, а наряды распределяю я, так как исполняю еще и обязанности помощника командира.

Я к старпому подошел и сказал, что мне кроме меня идти в этот патруль некому.

— Ну, и иди, — сказал мне на это Андрей Антоныч, и тем утешил меня необычайно.

— О! — сказал этот Витька, балда, когда меня увидел. — Кого мы наблюдаем абсолютно без бинокля! Наш помощник командира! И он поступает в мое непосредственное распоряжение. То есть я могу распоряжаться им по своему усмотрению. От этого сразу можно на голову заболеть. Столько всего сразу хочется!

— Сволочь! — замечаю я ему от природной вежливости. — Ты мне поговори еще. Может, я тебя после смены с вахты и прошу от сердца беззлобного! Но! Не обещаю, что ничего к тебе не затаю.

— Ладно! — говорит эта рожа, растягиваясь в ширину от удовольствия. — Заметано. Эти сутки гнием вместе. К ДОФу в патруль по благу пойдешь. Там с утра артисты ожидаются, вот ты их и встретишь, и проводишь, чтоб они на свежем воздухе сразу же не рехнулись.

И я отправился с утра к ДОФу. А солнце, мороз, снег, погода минус пять, тишь до горизонта, потому что десять часов утра и — никого. Бабы еще не проснулись, а в поселке никто в шинелях не шляется — на флотах ощущается боевая учеба.

Я простоял до одиннадцати — ни души. Собака вдалеке пробежала наискось через двор и все.

В полдвенадцатого на пригорке показался автобус. Они! Артисты!

Я изготовился, шинель поправил, грудь выпятил и патрульных своих между тем подтянул.

Автобус подъехал, развернулся и остановился. Постоял, потом дверь у него неторопливо открылась и нерешительно так сначала какая-то мордочка остренькая, без намека на половую принадлежность, из него высунулась, назад спряталась, а потом осторожненько вылез первый, за ним второй и еще, еще...

Вид у них был такой, как будто они на Луну попали.

Их, видно, часа четыре по нашему безмолвию тащили и они ни одного человека в окошко не видели, а тут их привезли в поселок, и здесь — опять никого, даже птицы не летают, если не считать меня и двух моих абреков.

Они до того обомлели, что все по очереди подошли и сказали мне «здрости!»

А старпом мне на это потом заявил:

— Это как раз и понятно. Тебя после города вывези в степь, и сам не заметишь через полчаса как начнешь озираться, прислушиваться — чу! стук копыт? — не идут ли хазары. Что? Сильно обкакались? Ну, это ничего. Это моется.

— Вам бы, Андрей Антоныч, только смеяться.

— А чего! Блядь! Представляю себе их глаза, не говоря уже о желудке! Так говоришь, здороваться сразу же полезли? Хелл! Эх, их бы сутки по сопкам повозить, они б тебя целовали. Ой! Не могу! Уйди!

И я ушел.

ОТДАНИЕ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ

Вот! Никому не мешал, спиной шел.

То есть я хотел сказать, что шел я по зоне, а машина начальника штаба подобралась ко мне со спины. Подобралась, и тут я услышал:

— А что, товарищ офицер, теперь уже честь отдавать не положено?

— Почему не положено, товарищ контр-адмирал, — замечаю я, развернувшись, — просто со спины я вас не успел заметить.

— А что, я у вас между ног болтаюсь, что со спины меня не заметно?

На это я не нашелся чем возразить, просто не успел себе это стереометрически представить, а потому был посажен в машину и отвезен на губу.

По гарнизону стоял опять наш Витька-штурман, но на этот раз обошлось без его глупостей, то есть увидел он начальника штаба флотилии и превратился в живое усердие и служебное рвение — бегом доложил.

Потом, когда все разъехались, Витька зашел ко мне в камеру:

— Чего стряслось?

— А что, не видно, что я посажен за неотдание воинской чести?

— Видно.

— Ну, вот и хорошо!

— А чего ты ее не отдал?

— От природной злобности, конечно. Ты стар-пому позвонил?

— Не-а.

— Звони. Это его друзья из штаба ему мелко гадят. Начштаба меня прекрасно знает. Так что этот баллон на Андрей Антоныча катится, я с ним сегодня в Североморск должен был ехать.

И Витька позвонил старпому.

Что было потом, это мне отдельно рассказали.

Андрей Антоныч и без Витькиных подзуживаний все понял с полоборота, выкатил глаза и позвонил командующему. Очевидцы этого разговора уверяют, что командующего он назвал «уродом», а начштаба — «гандоном». И еще он им сказал, что ни тот, ни другой больше расти по служебной лестнице не будет, потому что через пять минут у них в гарнизоне случится чрезвычайное происшествие. У них старший помощник командира «К-193» ворвется в штаб флотилии с автоматом наперевес и пятью рожками расстреляет им все стены.

Через десять минут Витька меня освободил:

— Вылазь! Старпом ждет.

А еще полчаса мы выехали с Андрей Антонычем в Североморск.

СМУЩЕНИЕ

Зам похож на животное. По мыслям и вообще.

Когда встали в завод, то так получилось, что в первый раз на выход в город мы отправились с ним вместе.

Он идет впереди, я за несколько метров сзади. Подходим к КПП, и на посту ВОХР к нему с криком «Коля! Дорогой!» кидается на шею «вохрушка».

Зам съезживается, будто его дубиной вдоль хребта огрели, потом он озирается и раскрывает объятия, в которые та «вохрушка» сейчас же попадает, а меня он замечает слишком поздно — она все еще у него в руках.

Видите ли, зам у нас наблюдает за нравственностью, — она, вроде кобылы в кустах, все время должна быть, — а тут — такое невезенье.

Он потом зашел ко мне на пост, и у нас с ним состоялся следующий разговор:

— Александр Михалыч!.. эм-м-м...

— Николай Пантелемоныч!.. э-э-э...

— Александр Михалыч!.. а-а-ат...

— Николай Пантелемоныч!.. к-к-ке...

И так минут пять.

Повторяя из раза в раз друг другу имя и отчество, мы следили в основном за изменением интонации.

Со стороны зама она была сперва настороженной, служебной, потом в ней проглядывала надежда, потом — смущение и, наконец, облегчение и покорность судьбе.

С моей стороны она была такой, что я всячески демонстрировал понимание, что ли, как еще сказать, черт его знает.

Затем помолчали минуты три, зам при этом смотрел все время в пол, как школьник, и мял в руках воображаемую соломенную шляпу.

После он вышел, успокоенный.

Да. Жопа парусом в ожидании ветра.

Не сдал я никому зама.

Хуй с ним, пусть живет.

СВЕТОФОР

Я стою и смотрю, как светофор переключается — красный-зеленый и чуть-чуть немного желтый.

Здорово.

Красиво.

И как же я раньше не видел, что это красиво? Как же я раньше не замечал?

Я многого не замечал — что воздух, что хвоей пахнет и ветер врывается в грудь и холодит там, что солнце и люди от него гримасничают, и что все это прекрасно, просто отлично.

Вот я стою на переходе, а он переключается.

Светофор. Я даже засмеялся — хорошо на душе.

Мы в автономке год почти были с редкими перерывами, я даже ходить разучился, кости болели, особенно колени и голень.

Мы потом в Сочи, в санаторий, приехали с Саней и ходили с ним птичек слушать.

Дождик капает.

Он оставляет на лице прохладу.

Как же я раньше-то не ощущал то, что он оставляет.

И листва под дождинками тревожится-тревожится — обалдеть!

— Вы идете?

Это меня спросили.

— Куда?

— Так светофор же загорелся! Зеленый!

— А-а... да-да... нет, спасибо, я еще постою...

БУДУЩЕЕ

— Товарищ капитан первого ранга! Разрешите доложить: в четвертой казарме нет воды!

Я — старший в экипаже, поэтому, доложив, я даже почувствовал что-то вроде облегчения.

Наш начальник штаба за столом лицом напоминает Иуду.

В смысле, такой же благородный, но только со виду.

А в движении он похож на душевнобольного, потому что большими, костистыми руками он вдруг начинает как бы загребать все со стола, складывая все это в несуществующий сундук с драгоценностями.

— Иииии-я!!! — вдруг говорит он зловеще, а потом наклоняется и еще загребает. — Из говна!!! (Все еще загребает.) Создаю светлое будущее!!! (Кто бы возражал.) Леплю я, понимаешь?!! (Понимаю.) Много!!! Леплю!!! (Еще раз понимаю.) А ты!!! Блядь!!! Приходишь сюда со своим говном!!! (Странно.) И мешаешь его в мое!!! (Не потерял бы мысль.) И вот, я уже из нашего общего говна должен лепить это светлое будущее!!! А?!! Как?!! (Ну, в общем, логично.) Что?!! Хорошо, да?!!! Хорошо?!!! (Наверное, хорошо, я не знаю.) А не пошел бы ты на хуй!!! На хуй!!! НА ХУЙ!!!

И я пошел.

— И дверь закрой!!!

И я закрыл.

В ДОК

В док становимся. С утра идем. Док в Полярном, так что чего там идти.

Буксирами окружены со всех сторон. Скоро будем. Я даже в кресле задремал, и тут дверь ЦДП рвется нараспашку и кто-то врывается.

Полусонный, еще глаза не отличают человека от ящика, на затекшие ноги вскакиваю и за перегородку — шась! — а там Леший моет руки в моем умывальнике. Леший — старшина команды трюмных. Маленький, вертлявый, вечно улыбающийся, неунывающий тип.

— Испугались? — радуется дурень.

— Леший! — говорю ему. — Вот по башке тебе дать, чтоб пищеварение не портил.

Тот счастливо заливается, потом смолкает и смотрит хитро.

— Гальюны сейчас закрою. Так что если хотите ссать или же пуще того, срать, то сейчас самое время. Потом продую и на большой замок, чтоб на стапель-палубу говно не вывалить. Это я вам соседски. Остальные помчатся, когда я продую. Да! Вот еще! Всех предупреждаю, в раковины не писать, а то у меня там труба сейчас будет откручена. В прошлый раз кто-то из ваших нассал мне прямо на голову. Очень я свою голову люблю, так что сразу предупреждаю: не ссать.

— А куда ж ссать, если приспичит?

— А я знаю? Часа четыре доковая операция, так что если чаю не надулись, то можно зажаться и потерпеть.

Леший исчезает. Дверь за ним затворяется.
Доковая операция длилась четыре часа.
Мочевой пузырь чуть не лопнул.

ЧП

Еб-тэты!

Это я про то, что случилось после. Витька-штурман позвонил на корабль и сказал, что у него ЧП. У него из караула молодой матрос сбежал с автоматом и патронами.

— Много патронов?

— Много.

— С какого он экипажа?

— С экипажа Петрова

— Никого не пришил?

— Никого.

— Жди у телефона, — сказал я и помчался к старпому.

— Все еще живы? — немедленно поинтересовался Андрей Антоныч.

— Пока, да.

— Так! Кому он доложил?

— Никому.

— Молодец. В состоянии «пиздец» все еще соображает. Организовал преследование?

— Кажется, нет.

— Когда «кажется», тогда яйца скребут.

— Не организовал, Андрей Антоныч.

— Всех экипажных собак в комендатуру.

— Кого, Андрей Антоныч?

— Собак! Не ясно? Обычных собак! Псов. Домашних. Кто-нибудь из них должен взять след.

След взял доберман по кличке Гранд — ему дали тряпку понюхать.

Через два часа орла обложили со всех сторон два экипажа: наш и Петрова.

После нескольких очередей в нашу сторону поверх голов, и криков, что сдаваться он не собирается, Андрей Антоныч неторопливо поднялся во весь свой непростой рост и так же неторопливо направился к нему. Я пытался что-то сказать, но гланды помешали.

— Стой! Стрелять буду! — неуверенно крикнул ему навстречу этот говнюк.

А я шептал только: «Андрей Антоныч! Андрей Антоныч! Не надо! Андрей Антоныч! Это ж дурак!» — а старпом все шел и шел к нему преспокойненько.

Когда он дошел, то протянул руку к его автомату и... отобрал у него автомат — это как в замедленном кино было.

Потом он поговорил с ним ровно минуту, потом повел его к нам.

Дали мы ему на общем собрании двух экипажей трое суток ареста.

Старпома заложили в тот же день.

Первым к нему прорвался зам — он в погоне не участвовал.

— Андрей Антоныч! Я должен серьезно с вами поговорить!

— Сергеич, если серьезно, то немедленно перестань чесаться.

— Вы себе позволяете то, что у меня даже в голове не укладывается.

— А ты в голову не бери. Бери... ниже...

— Андрей Антоныч, ваше безрассудство...

— Ладно! Сядь! Не маячь. Тоже мне трагедия. Парню дали по морде, и он в сопках немножко попрятался. Он даже не шлепнул никого, хотя, кстати, мог. А раз тогда не шлепнул, то через два часа-то после побега кто ж в людей стреляет? Риску с моей стороны было с ноготь попугая.

— Андрей Антоныч!..

И тут кают-компанию запросил центральный: «Старпом есть?» — «Есть!» — «Товарищ капитан второго ранга, вас командующий к телефону».

Пока старпом общался с командующим, зам по кают-компанию круги нарезал.

Потом пришел старпом.

— Ну? — зам от нетерпения в руках салфетку мял.

— Что «ну»? — старпом, казалось, от скуки сейчас помрет.

— Что... командующий?..

— Командующий? Да ничего, командующий. По старой памяти я с него только что бутылку коньяка содрал. За героизм и самопожертвование во благо родной военно-морской базы и его продвижения по службе. Какой ему резон ЧП иметь? Никакого резона. А так все шито-крыто. Парню дали трое суток. Посидит, поумнеет.

— Как... бутылку?..

— Как обычно. Что ж я зря страдал?

— Так вы с командующего бутылку коньяка за все это слупили?

— А ты думаешь, надо было две?

— ???

Знаете, на этом я их и оставил.

Разберутся как-нибудь сами.

ПЕТРОВ

К нам списанного офицера Петрова прикомандировали. В прошлом был неплохой начальник РТС. Теперь вот к нам. Я Андрей Антонычу сразу доложил, на что он сказал: «Пусть перед смертью свежим воздухом подышит».

Его списали по шумам в голове. Говорили, что шумит у него фактически.

— Андрей Антоныч, а куда его в наряд ставить?

— Ну, дежурным по казармам, наверное, можно... там у нас без пистолета?

— Без пистолета, но с кортиком.

Это означает (для гражданского населения) что при службе на боку он целые сутки будет не пистолет в кобуре, а кортик в ножнах на ремне таскать.

— Надеюсь, никого не прирежет.

Так что начал Петров у нас в наряды ходить.

При первой же встрече он мне сказал:

— «Собачье сердце» Булгакова читал?

— Читал.

— Вот! — при этом он поднял палец вверх и посмотрел многозначительно.

Я Андрей Антонычу сразу же доложил, на что он мне заметил, что, мол, ничего особенного.

— Я «Собачье сердце» тоже читал. Пусть в нарядах постоит. Может, у него все и пройдет.

— Андрей Антоныч...

А потом у нас вот что случилось. Этот Петров еще и йогом оказался, то есть увлекался он принятием всяческих поз, что очень любил демонстрировать, особенно женщинам перед половой близостью.

Так вот, одна из этих чаровниц спросила его сможет ли он, перекрутившись, достать носом до своих гениталий, на что он ответил, что он это делает запросто, с закрытыми глазами, и сделал, после чего его заклинило так, что он попал в госпиталь с аппендицитом, а ее потом доктора разгибали, потому что она от смеха заработала межреберную невралгию, после чего уже Андрей Антоныч все-таки позвонил своему дорогому начальству и потребовал, чтоб от нас убрали психа.

И действительно, «Собачье сердце» еще куда ни шло, но до носа гениталиями, и чтоб бабу потом в госпитале разгибали — это уж слишком.

Убрали.

А я вздохнул с облегчением.

ТАМ ЖЕ

Корабль уже в доке.

Подводная лодка в этом месте похожа на обсыхающего кита.

На него уже набросились лилипуты-рабочие, ставят леса.

Мы сюда максимум на неделю, доковый осмотр.

Вываливаем на стапель палубу. Влажно, лужи.

У нас построение, на котором старпом говорит, говорит.

Все, что он говорит — чушь собачья, все мимо ушей. Весна. Дышится. В воздухе запахи, звуки. Хорошо. Хочется добавить слово «блядь», но не будем, и так хорошо.

Рядом боцман. Строй распустили, и боцман теперь стоит, задрав голову, и смотрит на нос лодки. Смотрит он с удовольствием, как если б это был его личный, невиданный урожай, то есть его плоды.

— Да! — говорит боцман. — И суриком... да...

Вот так. Человек только что сам себе поставил задачу, испытал от этого невыносимое удовольствие, и теперь пойдет эту задачу исполнять.

И я пойду.

Мы сюда максимум на неделю...

ДЯДЯ ХАБИБУЛИНА

— У Хабибулина дядя умер.

— Так все ж умрем.

— Андрей Антоныч...

— Саня, никак не пойму, и что ты мне предлагаешь? Зарыдать?

— Отпускать его надо на похороны.

— С какой это радости?!!

— Он у него единственный родственник и воспитывал его с детства.

— А меня с детства воспитывал лес мещерский и когда его вырубали, я плакал. Ну?! И что теперь?

— Андрей Антоныч...

— А на верхушке кто две недели стоять будет?! Я?! (Головка от хуя.)

— Нет.

— А кто?! КТО, Я ТЕБЯ СПРАЩИВАЮ?! Развели тут крематорий. Похоронное бюро, а не корабль. Дяди мрут как мухи. Застынем сейчас все под музыку странную. Повязками черными только подмышку обвяжем. Сделаем только себе лица до земли. Что ты на меня уставился? Старпом — изверг, не дает закопать дядю? Блядь, это не страна, это кладбище какое-то! Все хоронят всех! Плачут все! Хоть бы кто работал! Хоть бы кто один раз какой-нибудь гвоздь поганый куда-нибудь вбил! Они хоронят, а я их должен охранять! Это немыслимо! Я — на верхушке с автоматом! Вы меня уморить хотите! Точно! Я вам официально заявляю, что мне чихать на всех умерших и живущих! На всех сосущих грудь и какающих в горшок! На всех плодящихся и разбирающих слова по буквам! На всех изучающих приставки и суффиксы! На всех сдающих анализы на желтуху и сифилис! На всех бодрствующих и страждущих! На всех нищих духом и больных глаукомой! А?! Что?! А?!..

В общем, отпустили мы Хабибулина.

А на верхушке все по очереди стояли.

ЛЕХА

Мы угодили в завод. Сейчас нам кингстоны поменяют, а то не держат ни хрена. Шляемся по территории. Ходим, ходим. Тут вроде теплее, чем в наших местах, что ли. Вроде да, теплее.

Есть буфет, можно пирожок съесть.

Пирожок хороший, с повидлом. Я уже съел. Вкусно.

Леша Дорохов на пирсе сидит, греется и мечтает.

— Я после дембея лук буду сажать.

— Какой лук?

— Репчатый. Знаешь сколько денег?

Леха у нас командир турбинной группы. Переведен он к нам с какими-то повреждениями в психике. Схлестнулся с начальством и вот...

— Корейцы меня научат. У меня на родине корейцы живут. По луку большие специалисты. Хорошо! Правда, Семеныч?

Он хватает стоящего рядом морячка из своих турбинистов за шею и зажимает его под мышкой. Леха парень очень сильный, и моряку приходится плохо, но тут Леха его отпускает — это он в шутку.

— Лук хочу выращивать! — орет он на всю округу. — Лук!

— Леш, ты чего орешь?

— Так ведь хорошо!

Хорошо, действительно.

Больше я Леху не видел. Перевелся он от нас...

НАЛЕТУ

Есть у соседей два дурака.

Лейтенанты Толя и Ваня.

Их иногда к нам прикомандировывают, и они у нас наряды тащат.

Вот оказались они опять с понедельника в нашей части, и я немедленно Толю в патруль снарядил.

А Ваня здорово из пистолета стреляет, за что имеет к себе любовь нашего старпома.

Андрей Антоныч не очень ровно дышит, когда кто-то хоть что-нибудь хорошо делает, а этот тип, действительно, даже из дебильного пистолета имени Макарова пуля в пулю кладет.

Налету. Брось ему пистолет, он его — хватя! — и в десятке дыра.

Через два часа после заступления Толи в патруль мне позвонил из комендатуры Витька-штурман.

— Старпом на борту?

— А где ж еще?

Что-то мне не понравился Витькин голос — до колена авария.

— Что стряслось в стране Купоросии?

— Тут у нас вот что.

Рассказ Витьки: Толя заступил в патруль и примерно через часик после заступления отправил своих патрульных на камбуз ужинать, а сам домой жрать намылился. Идет и видит: вперед лицом к нему друг Ваня мелко чапает. Встретились они и тут же зарешили пожевать чего-ни-

будь в одном укромном месте, для чего свернули в сторону и пошли между домами.

И вдруг женский крик. Да такой, что просто режут. Кричат из ближайшего подвала. Они туда — перед ними следующее: пьяный воин-строитель схватил девчонку лет шестнадцати, зажал ей рот и рвет с нее платье.

Толя на него пистолет наставил, мол, руки вверх, писун оглаживать совсем не обязательно, а тот девкой прикрылся, достал нож и к горлу ей его приставил. Бросай, говорит пистолет, лейтенант такой-то матери, а то кончу дурочку.

И Толя бросил пистолет. Ты думаешь, он его на землю бросил? Нет. Он его Ване бросил. А Ваня же на рефлексах — так что пьяный воин в сей секунд получил пулю в лоб ровно между рог. Какое-то время он стоял, конечно, вертикально, не без этого, а потом он пал на девку замертво, и вот тут уже она дополнительно обоссалась.

Оба сейчас в камере — это я о лейтенантах. Толе за передачу оружия грозит сам понимаешь что, и потом они одного человека ухлопали, а другой теперь постоянно серит.

То есть не все у нас гладко.

Прокуратура прилетала, как птичка на пададь. Тебе там хорошо слышно?

— Да.

— Без Андрей Антоныча нам никак. Лучше пусть он позвонит командующему первый.

Старпом у телефона был через мгновение.

— Так! — сказал он и вызвонил командующего.

— Лысый! — обратился он к нему. — Что у нас на свете белом творится, знаешь? Это утешает. Теперь так: эти двое прокуратурой окружены очень плотно и кроме тебя к ним никто не прорвется. Прорвись сейчас же. Девка прокурорам скажет все, что они захотят. А они захотят засадить ребят. Это точно, как дырка в бублике. Значит, версия такая: один бросил пистолет на землю, а другой его налету подхватил и выстрелил. Да, да, да! Знаю, что чушь, но может пройти. Парень этот фокус при мне трижды проделывал и, если надо, на следственном эксперименте все сработает, как мама учила. Это наш шанс. Ты полного адмирала хочешь на погонах поймать? Я так и думал. Вперед! Потом доложишь.

— Андрей Антоныч, — поинтересовался я много позже, — извиняюсь за любопытство, это вы командующему сказали «Лысый», и чтоб он вам «потом доложил»?

— А что такое? Я у него в училище младшим командирам был, и генетическая память у него в идеальном состоянии. А «Лысый» — это ж кличка.

А зам, пока все происходило, шлялся по кораблю и руки ломал.

Старпома он нервировал.

— Сергеич! В каюте запрись, и чтоб я тебя не видел.

— Андрей Антоныч!

— Уймись, Зарима! Накрылась паранджей, и остального мира нет. И не лезь туда, где пахнет

полной жопой! Будешь мелькать перед глазами, я тебя в перекрестие прицела поймаю. Или задущу, чтоб что-нибудь в руках таскать. Рот умой от слез печальных. И не смотри на меня, как Муму на Герасима! Переведи свой взор на зеркало, а в попку, чтоб не прорвало, можешь огурчик вставить — у меня в каюте банка — только вчера начал.

Два часа молчали, потом позвонил командующий.

Старпом схватил трубку, как кот пролетающего воробья.

— Ну? — все напряглись, аж привстали. — Ну!.. Ну-у-у!..

Все эти «ну» у старпома звучали по-разному, но по этому звучанию все же было не понятно, как там.

— НУ-У-У!!!... Понял!.. Лысый!.. Понял!.. Должен тебе сказать... что ты (у всех яйца сжались) ... МОЛОДЕЦ!!!..

Фу! Отпустило. Старпом повесил трубу.

— Все! Командующий с дядей прокурором договорился. А у невинноубиенного только что обнаружили потуги к изнасилованию с измальства. Привлекался он, оказывается, и все такое. Так что повезло дуракам. Саня, достань зама из каюты, небось, ссыт там все еще в ведро.

Я пошел и достал зама.

После этого мы немедленно выпили.

ЖЕЛЕЗО

А на лодке даже шинель железом пахнет.

Домой прихожу, и жена с порога набрасывается: ты — то, надо — это, я тебе говорила, а ты — ничего...

А я ей: «Подожди. У меня шинель еще пахнет железом. Пусть хотя бы немного выйдет».

ГРУШИ

А хорошо, когда груши. Плохо, когда их нет.

Я знаю, как их надо есть. Их надо есть с попки. Отвинчиваешь хвостик и... хорошо.

А еще на берегу хорошо. Вода теплая, ты только что искупался, выбежал на берег и под навес. Там и приятель твой созревает. Вы оба отличные пловцы и сейчас намолотили по воде километры.

Теперь можно и груши сожрать.

Я лично смотрю на них уже очень давно.

Моя — розовая. Я так примерился, нацелился на нее. Большая.

А его желтенькая, но не очень большая. Ему хватит, потому что он, во-первых, меня меньше, а во-вторых, это мои груши. Я принес. Должен же я обладать правом собственности! Вот! Хочу, чтоб моя была розовая. Что в этом плохого?

Только я все это про себя произнес и обернулся за грушей, как вижу, что этот тип, этот чухрай неотесанный, уже жрет мою розовую, с чавканьем.

Ну... это надо пережить!

Я ему: «Ах, ты гад!» — а он улыбается и тычет мне в нос свою желтую и маленькую!

Гад, а?! Гад!!!

С тем я и проснулся.

Спал я, оказывается. В каюте нашей. На втором ярусе.

А приятель спит подо мной, и я его все еще ненавижу.

Фу, Господи, чушь какая-то. Неужели... Это сколько же я спал? После обеда, кажется, легли. Значит, минут пятнадцать. А сердце колотится как бешеное.

И все из-за груш. Съел все-таки, паразит. Теперь, вон, дышит совершенно невинно.

Ой, блин! Про яблоки, что ли, подумать? Может, я опять засну?.. А?..

ТАК, НИ О ЧЕМ

Наш командир БЧ-5, седовласый механик, смотрел в окно и курил.

Дело в том, что мы прибыли на захоронение в Северодвинск, а механика нам перед убытием поменяли. Взяли у нас хорошего и перспективного и дали нам старого и никуда не годного.

То есть на захоронение отправлялись не только корабли, но и люди.

Особенно такие, как наш механик. Он слова не может выговорить, чтоб при этом не заикнуться. То есть: «Вы, бя-яяяядь!» — он будет полчаса выговаривать.

Теперь курит и смотрит в окно.

А за окном мерзость — дождь проливной и ветер в стекло.

Механик смотрит туда, улыбается своим мыслям и говорит: «В-вввв-от изззззз эттттт-то-го-оооо... гттг.... гтг... гтг... город-ддд-а... й-я... и уй... уй... ду... в зап-ппас-сс!» — выговорил, слава тебе Господи!

Представляете, с кем мы служим?

Этот калека радуется тому, что он уволится в запас.

Человек радуется концу.

А ракетчика нам прислали перед самым отплытием такого, что невозможно описать: маленький, руки дрожат, глаза бегают.

А в характеристике у него было отмечено: «Труслив. Тороплив. Бестолков. Продажен. В сложной ситуации теряется до бесчувствия. Подвержен панике. Легко отрекается от всего. Содеянного не помнит».

Старпом прочитал, снял очки, сунул в рот одну дужку, пожевал, вынул изо рта и говорит: «Пойду напьюсь как свинья!» — и пошел.

Я его понимаю.

НА БОЛЬШОМ КОЗЛОВСКОМ

Чем дальше от моря, тем больше к нему тянет. К чему это я? Да ни к чему. Просто так. Чтоб разговор завязать.

Вася Топоров и Федя Бздин — два капитана первого ранга, в прошлом однокашники, попали

в Главный штаб ВМФ на Большой Козловский почти одновременно.

Некоторые говорят, что в Москве на Большом Козловском служат только Большие Козлы. Я с этим не согласен. Взять хотя бы недавно прибывших с флота капитанов первого ранга Васю и Федю — на них посмотришь, и сразу же вспомнишь море, скалы, проливы, фьорды. У обоих — совершенно непрошибаемые рожи. Выражение лица не меняется неделями.

Обычно это ответственность, ответственность и еще раз ответственность, редко — расторопность и никогда — недоумение.

На службе они молча сидят за столами друг напротив друга. Ровно в семнадцать тридцать они встают из-за столов и спускаются к выходу.

Там они, не сговариваясь, делают поворот «все вдруг» и направляются к небольшому кафе со стойкой, где их уже знают. Бармен немедленно, по особому знаку от дверей, а потом уже и без всякого знака, наливает им по пятьдесят грамм коньяка каждому. Не говоря ни слова, они его неторопливо выпивают, замирают на мгновение, предоставляя возможность жидкости добраться до желудка, кивают друг другу и расходятся в разные стороны.

Все это продолжается с год, наверное, и вот к ним назначают Валеру Беспалого, еще одного их однокашника, с которым они не виделись с самого училища.

Ну, скупые объяття, редкие крики «а ты помнишь», разговоры ни о чем, потом все-таки движение в нужную после работы сторону.

Уже в самом начале этого движения, шагов через пять, лица Васи и Феди, после всех этих воспоминаний постепенно обвисая, превратились в те непрошибаемые рожи, о которых мы уже упомянули, но Валера Беспалов, совершенно не замечая этого превращения, все еще на ходу говорил:

— А куда мы движемся? Там выпить-то есть? Нормальное или говно? Надо было в магазин сходить. Я знаю один. А зачем мы туда идем? Лучше же на лавочке! А там не отравы? Тут один мой приятель выпил коньяка и утром...

Вася и Федя, по мере нарастания вот такого словестного потока от бывшего соученика, а ныне капитана первого ранга, словно очнулись и сперва испытали то, что им совершенно не свойственно: они испытали недоумение. Потом они переглянулись, а бармен тем временем, завидев их в дверях, налил им по бокалу, заметил, что их трое, и налил еще.

Пили Вася и Федя, казалось, целую вечность. Во время этой вечности Валера Беспалов все время говорил:

— Ничего забегаловка, да? А вы тут каждый день? А тут бабы есть? А коньяк грубоват. Это дагестанский? (Бармену) У вас дагестанский коньяк? Да? Дагестанский — говно. Я же говорил, надо армянский брать. На лавочке бы сели. Лучше же на свежем воздухе. А вот мой сосед...

Вася и Федя смотрели только друг на друга. В их взоре было море, скалы, проливы и фьорды. Они допили коньяк. Потом они вышли и с порога простились с Валерой, который все говорил, что куда же они, что чего же так сразу...

Они отошли от него метров двадцать, остановились, закурили, потом Вася сказал, глядя в пол:

— Беспалов — мудака. Ничего не меняется. Как я мог забыть! Пизда на сковородке. Мелкошиноканная. Я его застрелю, если он еще раз за нами увяжется.

Федя ничего не сказал, только кивнул.

Потом они разошлись.

БАБЫ КОБЗЕВА

— У нас Кобзев с двумя бабами живет.

Когда я это произнес, старпом на меня уставился и взором потеплел.

— Саня, кто с кем живет, это не ко мне, это к заму.

— А я, Андрей Антоныч, вас к заму и готовлю. До него через час дойдет.

Теперь он на меня смотрел, как на неизбежное зло.

— Ну?

— Вот и говорю, Андрей Антоныч!

— А что ты говоришь? Ты пока еще ничего не сказал. Это я говорю: «Ну?»

Дожил я, Саня, дожил! Офицеры обсуждают то, что должны обсуждать женщины в очереди за колбасой. Но теперь нет очередей, а колбасы навалом. Может, в этом причина? Мне все время хочется знать, в чем причина! Хочется выявить связь! Причинно-следственную! В том моя беда! Вот, был флот, были офицеры, были очереди, и не было колбасы. Теперь флот у пирса утонул, очереди кончи-

лись, колбаса появилась, и офицеры считают сколько у кого баб. Вот у тебя их, Саня, сколько?

— Андрей Антоныч, я не про то.

— Ладно, давай, про это.

И я старпому рассказал то, что мне пять минут назад Витька-штурман поведал.

Кобзев десять лет жил со своей Светкой и детей у них не было, и вот как-то, в прекрасном далеко, встретила ему девочка. И возникла у них любовь. А теперь девочка с ребенком на руках к суженному Кобзеву на север прилетела, прошла все кордоны и оказалась у его дверей. Светка ей дверь открыла и обмерла, и девочка тоже обмерла, потому что ей всегда казалось, что Кобзев у нас свободен, как муха це-це.

Так вот, две женщины обо всем договорились в один момент. Они решили, что Кобзев им дорог и жить они будут вместе. Самое удивительное началось тогда, когда этот хмырь болотный домой явился. Бабы взяли его прямо с порога. «А ну, вползай!» — сказала ему Светка, и это не было метафорой. Кобзев вполз. А по ночам его первой пробует девочка, которую Светка зовет «ребенок».

«Сначала ребенок!» — говорит она, имея в виду то обстоятельство, что она — Светка — будет вторая.

Теперь самое время вспомнить любимое выражение Кобзева: «Нас ебут, значит жизни еще не конец!»

Тут я сделал перерыв.

Именно в этот миг дверь каюты с лязгом уехала в сторону, и в проеме появился запыхавшийся зам — видно, по проходу бежал, торопился.

— Андрей Антоныч, вы в курсе, что Кобзев с двумя бабами живет?

После того как Андрей Антоныч посмотрел на зама снизу вверх, я подумал, что мне, в общем-то, пора.

А потом он как загремит:

— ДА ИДИТЕ ВЫ ОБА НА ХЕР!!!

— Андрей Антоныч...

— На хер!!! Оба!!! Где акт проверки вещевой службы? (Это он мне.) Чтоб через пять минут у меня был!!! А вы, заместитель командира, кажется у нас не по такой-то части! Вы администратором должны быть!!! В публичном доме на Александер-плац!!! Вы там должны вести учет блядей!!! И не надо этим заниматься у меня на экипаже!!! Мир перевернулся! Все тронулись! Чокнулись! ОКОНЧАТЕЛЬНО!!! Ну-ка, посмотри на меня, старый дурак!!! (Это он заму.) Тебе что, заняться нечем?!! А?!! Вам, кажется, обоим заняться нечем!!! Я ВАМ НАЙДУ ЗАНЯТИЕ!!! ВЫ У МЕНЯ БУДЕТЕ ЯЙЦА СЧИТАТЬ В ШТАНАХ У ЛИЧНОГО СОСТАВА!!! И ТЕМ СЧАСТЛИВЫ БУДЕТЕ!!! ДА!!! КАЖДЫЙ! БОЖИЙ! ДЕНЬ! КОБЗЕВ У НИХ С ДВУМЯ БАБАМИ ЖИВЕТ!!!

А ВАМ ЧТО, ЗАВИДНО, ЧТО ЛИ?!! ПРИБЕЖАЛИ ДОЛОЖИТЬ!!! ВЫ БЫ О БОЕГОТОВНОСТИ ТАК ЖЕ ПЕКЛИСЬ! БАБЫ КОБЗЕВА ВВЕРГАЮТ ИХ В УНЫНИЕ!.. БЫЛЯДЬ!!!

Успокоился вроде.

— Так! К Кобзеву у меня претензий нет. И кончен бал, сожрали свечки! Мало ему одной

бабы, нашел вторую. А если ему нужно будет третью, то вы, заместитель командира по псих подготовке и душевному равновесию в войсках, найдете ему третью. А я проверю!!!

И тут старпома вызвали в центральный к телефону.

Окаменевший зам и я, в меру теплый, двинулись за ним так, чтоб успеть проскользнуть мимо.

Но мы не успели.

Звонил командующий. Слышимость была редкостная.

— Ты в курсе, что у тебя один офицер с двумя бабами живет? — сказал командующий нашему старшему помощнику.

Вы знаете, у меня немедленно выросли обалденные крылья, и в люк центрального я просто вылетел.

СПАТЬ

Знаете, на лодке всегда хочется спать. Только вниз спустился, на пост зашел, сел — немедленно умер. Голова сама на стол падает, глаза повисают — ум свободен.

И полетели, полетели, полетели... туда где море с берега, и пляж, и солнце, и горы, и неожиданно небеса, и ты летишь, летишь, совершенно свободно, легко, ничего не касаясь и не переживая ни капельки, если даже и заденешь обо что-нибудь чуть-чуть.

Надо ли говорить, что тебе хорошо?

Надо ли говорить, что все легко и чудесно, и замечательно, изумительно, неожиданно восхитительно, обязательно правильно, ладно, дивно, кучно, тучно?

Плохо только просыпаться под начальственное: «ВЫ ЧТО ТУТ СПИТЕ ЧТО ЛИ?!!» — от этого при вздрагивании головой в прибор и вонь столбом.

МИТИНГ

— Андрей Антоныч, пришла бумага насчет того, чтоб мы пересмотрели свои взгляды на рост нашей боеготовности, для чего через полчаса надо быть в поселке на митинге, посвященном этой теме.

— Саня, не понял, ты меня за зама, что ли, принимаешь?

— Да нет, Андрей Антоныч, просто написано «командованию», вот я и докладываю вам.

— На заборах знаешь что написано? Кто бумага? Какая бумага? Откуда бумага? Зам где? Видел ли он эту бумагу? Я все сам должен у тебя спрашивать или все же мусор отожмем самостоятельно и доложим уже самую суть?

— Бумага из штаба флотилии, зама нет, он в дивизии, а реагировать надо быстро.

— Быстро надо реагировать только на укусы. А когда хуйня из штаба сыпится, то на это вообще реагировать не надо. Надо изображать шаг на месте. Где зам?

— Я же говорил...

— Эту муть я уже слышал. Ты зама нашел или примчался доложить о потере дееспособности?

— Зам...

И тут появляется задыхающийся от бега зам. Видно, торопясь за пиздюлями, он совсем себя не помнил.

— Андрей Антоныч!.. Фух!.. Фу!.. Андрей Антоныч!.. На... да... на... ми... тинг... лю... дей... на... да...

Старпом на него посмотрел, как собака на осу.

— Сергеич, ты кончишься сейчас. Вот почему слово «митинг» лишает всех замов остатков ума и самоуважения?

— Андрей Антоныч!

— Я еще не закончил. А когда я закончу, вам будет разрешено прийти в чувство. Откуда это прилетело? Что за пожар в ватерклозете? Я старпом, а не институтка!!! Усвойте! Наконец! Митинги не для меня! Вы меня с кем-то спутали, мечясь по полкам! При слове «митинг» я стреляю с колена! И сосать этот общий леденец я не собираюсь! Вы на себя когда-нибудь глядите без принуждения? Мама родная узнает с трудом! Что у вас с членами? Почему они дергаются? Они без вас хотят на митинг? Вот пусть и бегут! Только не надо изображать, что вам есть чем заняться! Лицо надо сделать себе без морганья! Митинг! Страна утопия! Утопит кого угодно в ведре полуденного дерьма! Все бегут в одну сторону! Срочно им надо на митинг! Срочно вам надо голову с жопой поменять! И это будет пра-

вильно! Чтоб у меня немедленно была отмазка насчет того, что нам туда некого посылать...

Ну, и так далее, и так далее.

В общем, у нас на митинг только зам отправился.

С МОРЯ

Бабу хочется.

С моря пришли, а жены еще не подъехали.

Опоздали жены, потому что женский телеграф на этот раз ошибся — раньше мы пришли. Вот, теперь ходим.

Мы с Андрюхой ходим.

А на КДП женщины вахту несут.

Недавно это у них началось.

Обычно матросы срочной службы стояли, а потом их на баб поменяли, в связи со сложностями весеннего призыва, так что мы с ним вокруг крутимся.

Делать-то все равно нечего. Солнце, работать неохота. Вот и шляемся с лицами блудливыми.

Андрюха пошел и полевых цветов набрал.

Потом он девушке их преподнес, мол, вот вам.

— Это мне? — девушка зарделась.

— Вам! — сказал Андрюха девушке, а ко мне повернулся и добавил со зверской рожей, — вам, бли-ииии-н!

ФИЗИКА

Черт! Мне опять снилось, что сдаю экзамен по физике.

Ну, не могу я уже! Снится: парты, парты, за ними сидят мальчики и девочки, аккуратненькие такие, и я — великовозрастный верзила, в форме, должен с ними учиться, а я не помню ни хрена!

Вот хоть тресни!

Ну, не знаю я физику. НЕ ЗНАЮ. Я посмотрел в одну тетрадку, а там пример столбиком и почему-то квадратные уравнения. Мы же физику только что сдавали?

И тут я уже взвыл: «Господи! Ну не хочу я учиться! Не хочу! Ну почему ты во сне сажаешь меня каждый раз за эту проклятую парту?! Освободи! Господи! Прошу! Не могу я видеть каждый день одно и то же!»

Фу! Проснулся. Вроде, выспался...

ЧАЙ

У старшего помощника командира корабля сегодня отличное настроение. Он сидит в кают-компании за столом и держит перед собой книгу.

Напротив него зам и настроение у него поганое.

Я сижу рядом и у меня настроение так себе.

Мы ждем, когда подадут чай, и старпом нам читает вслух:

— «... Сокровище — это нечто, в максимальной степени организованное в соответствии с

идеей «пассо», слышь, Сергеич, чего говорю? — «...в соответствии с представлением о «пассивной активности» вещей». А вот еще: «Сокровище «не владеет собой настолько глубоко», что через это безволие», а я так и думал, «через эту пассивность оно приобретает власть над другими». Или: «Сокровище не является только лишь знаком, его знаковость подавлена его избыточной вещностью».

Подают чай, старпом отхлебывает и продолжает:

— «Эта современная логика», заметь, Сергеич, «окольными», вот зараза, «путями», я околеваю, «выпестована романтизмом», ну еще бы, «направлена на разрушение более древней логики сокровищ», охуеть не встать!

Старпом доволен. Он откидывается на спинку кресла и с улыбкой смотрит в текст.

— Сергеич, у тебя есть что к этому добавить?

Зам сделал попытку открыть рот.

— Да где ж тебе что-нибудь добавить? Тебе дай убавить от этого чего-то, и ты полчаса будешь думать: не убрать ли первое слово, потому что только оно в твоей памяти когда-то встречалось.

И то — когда мама Стивенсона тебе на ночь читала. Больше-то никак.

Зам надувает губы, старпом мгновенно теряет игривость и наклоняется вперед:

— Кстати, о маме! Тут твои друзья в штабе придумали устроить у нас что-то вроде «дня открытых дверей» и пригласить всех близлежащих мам посмотреть на то, как их сыновья служат. У меня нет слов! Они хотят устроить

нам массовое матерное самоубийство. И откуда в дивизии сразу столько идей?! Одна другой лучше. Ты, надеюсь, к их народжению свою руку не приложил?

Зам пытается...

— А ты можешь мне в глаза смотреть, а, со-кровище? Я, как только этим у нас запахло, почему-то сразу о тебе подумал. У кого еще в штабе три сказанных подряд слова издали напоминают сложноподчиненное предложение? Только у тебя, разлюбезнейший наш заместитель!

Зам...

— Учти! Я в этом не участвую. Напридумайте, а потом за вас настоящие люди отдуваются. От безделья надоедает иногда просто так жопу чесать. Понимаю! Хочется чесать ее с превеликим смыслом. Так вот это без меня! И чтоб я не слышал криков пожираемой крокодилом цапли. А мамы вас слону на хуй наденут, ясный компот! А я хочу это все исключительно со стороны наблюдать. Так и передай всем, кого по дороге встретишь...

Мда!

Так что чай мы допили.

ВОСЕМЬ МИНУТ, ДЕСЯТЬ СЕКУНД

Не кажется ли вам, что вокруг все сияет? Не кажется ли вам, что солнце, распустив свои благодатные лучи в лоб всему существу, являет нам, тем самым, милость создателя... хотя слово «распустив» лучше бы заменить на «рас-

пространив». Да! Наверное, так. Так вот на-счет солнца, оно...

— Саня! — услышав свое имя, я отвернулся от солнца. За спиной стоял старпом.

— Да, Андрей Антоныч!

Андрей Антоныч казался несколько озабоченным.

— Слушай внимательно. По нашим крабовым делам. Звонили японо-китайцы. В городе Слона завалили, и у бандитов сейчас передел. Так что к братьям с востока на той неделе явились новенькие уроды и назначили им арендную плату. Потомки великого Чан-кай-ши сунулись было в милицию, но та только руками развела. Восточному народу мы сейчас поможем. Они как раз собрались к лиходеям на рандеву. Оповести всех: мы выезжаем в город на трех машинах. Три автомата наши и еще три возьмешь с экипажа Петрова, я договорился. По два рожка на каждый. И ведро патронов. Кобзеву скажешь, чтоб приготовил свой мини-автоген, кое-что отрежем по пути к славе. Кто по гарнизону?

— Штурман. Он там навсегда.

— Чтоб выезд обеспечил. Если по дороге нам багажники ковырнут, то я ему объявлю общественное порицание.

Через час мы уже ехали в город. Через три часа были у китайцев.

— Ли! — сказал Андрей Антоныч их старшему, — Твои разведали где все это будет происходить?

Китаец кивнул.

— Хорошо! Нарисуешь Сане план здания. Да, ты говорил, что там дверь железная в подсобное помещение имеется, и еще она в переулок выходит.

Китаец опять кивнул.

Через минуту он нарисовал план — ничего особенного, точь-в-точь наш береговой камбуз. И как это наши строители ставят везде одно и то же.

Старпом провел краткое совещание.

— Подъезжаем со стороны лица только одной машиной, остальные ставим здесь. Я с Ли без оружия иду наверх. Начинаете через десять минут после того, как мы войдем. С главного входа охрану тихо положить. Саня, это на тебе. Кобзев своим автогеном режет на двери в подсобку петли и еще одна группа входит отсюда. Встречных вязать. Увидимся наверху. Вопросы?

Вопросов не было. Пока Кобзев резал петли на двери, я, вырвав из-за торца здания, припадая к стеночке, направил свои стопы прямо на охрану. По дороге я качался и орал песню «Когда усталая подлодка...»

Охрана в количестве двух лбов опрометчиво направилась ко мне. Они свои пушки вытащить не успели.

А я успел.

Я сунул им пистолет в нос и попросил лечь, раздвинув ноги.

Китайцы связали их в одно касание, а Кобзев к тому времени уже отпилил дверь.

Зря, между прочим, Андрей Антоныч так сустились относительно того, что у них на каждом

этаже размещено по станковому пулемету. Без особых хлопот мы положили всех встречных попкой в небо, а уж насчет того, чтоб кляп им по самый бронхит воткнуть, так круче китайцев на это дело я никого не нашел.

Вошли мы к Андрей Антонычу, беседующему с главными злодеями, ровно через восемь минут и десять секунд.

Я ему сразу доложил:

— Андрей Антоныч, восемь минут, десять секунд.

— Хорошо! Как народ?

— С космосом беседует. Этих кончать будем как обычно или же порежем на карандаши?

— А может, мы с ними, Саня, договоримся?

Злодеи охуели. Видно было по лицам.

— Значит так, ребята, — сказал им Андрей Антоныч. — Саня, пока я не начал тему излагать, отстрели им телефоны и компьютер, — и я отстрелил.

Андрей Антоныч подождал, пока осколки улеглись, и продолжил:

— Внимание, хочется сказать! Я уже объяснял некоторым покойным, что мы военные и плохо понимаем вашу гражданскую речь. И впереди мысли у нас летит только пуля. А трупы мы или закапываем, непрерывно глумясь, или откапываем, в зависимости от пятен на солнце. Если вы еще раз явитесь к Ли побираться, то я не буду устраивать вам такое же кино. Я за три рубля куплю в милиции ваши адреса и задущу по ним все живое, включая домовых мышей. А аквариумных рыбок, если таковые окажутся, у

меня сырыми проглотит Саня, так как он любит суши. (Я сделал себе простое лицо.) Саня, отсрели им еще раз компьютер, он, кажется, шевельнулся.

И я отстрелил.

Нас с тех пор Ли совсем не беспокоил.

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

Сидим в кают-компании и пьем чай с сушками — зам, я и Андрей Антоныч.

У Андрей Антоныча хорошее настроение, поэтому он делится с нами воспоминаниями о том времени, когда он наизусть знал «Мальчиша-Кибальчиша» Аркадия Гайдара.

— Очень я его любил. Ну просто очень. Все время с этой книжкой ходил, маленький и голожопый, и всех заставлял ее себе читать. Нравилась она мне. Особенно это: «И отцы ушли, и братья ушли, что же нам, мальчишам, сидеть дожидаться, пока придут буржуины и уведут нас в свое Проклятое Буржуинство?» — правда, хорошо? А, Сергеич? Хорошо?

Старпом с удовольствием разгрыз сушку.

— Да! Так увели нас в свое «Проклятое Буржуинство» или все же не увели, как считаешь?

Это он заму. Зам морщится.

— И нечего себе личность искажать. Я тебе скажу, если не знаешь! Не увели! Оставили, блядь!

А это как забыть? «Нам бы только ночь простоять, да день продержаться!»

Старпом сделал себе мечтательный лик.

— Я, между прочим, по молодости только так и служил: стоял сначала ночь, а потом изо всех сил держался за день.

Зам молчит, напыжился.

— А еще мне нравилось: «Что же это за страна, если в ней даже такие мальчиши знают военную тайну и так крепко держат свое данное слово?»

Сергеич, ты не знаешь, случайно, что это за страна, где тайной является даже то, что и так все знают?

Зам, наконец, изрекает:

— Андрей Антоныч, вы все время с каким-то подвохом...

— Ничего подобного! Без всякого подвоха. Если я говорю, что «говно», значит, так оно и есть.

А вот еще мне нравилось: «Если у вас запоют, то у нас подхватывают, и что у вас скажут, над тем у нас задумаются». Мне вот тоже интересно: что это у вас такое есть сказать, Сергеич, над чем можно задуматься? А? Или: «... И нет ли у вас тайного хода во все другие страны?..»

Наверное, есть у вас «тайные ходы», и по ним постоянно идут всякие там «сергеичи».

— Я, Андрей Антоныч...

— Да, ты, брат, молчи! Мне и концовка нравиться: «И в страхе бежал заглавный буржуин, проклиная эту страну с ее удивительным народом, непобедимой армией и...— обрати внимание, — неразгаданной военной тайной!»

А ты, Сергеич, знаешь, о какой тайне идет речь? Нет? Так я тебе скажу. Тайна такая: Красная Армия всегда опаздывает.

И мальчишей, между прочим, просто рубят в капусту.

А потом: «Плывут пароходы — привет Мальчишу! Летят самолеты — опять: привет Мальчишу!..» — вот на это вы горазды. Приветы раздавать.

Зам допил свой чай и быстренько вышел, а Андрей Антоныч, глядя ему вслед, с удовольствием сломал очередную сушку и отправил ее в рот.

В МОРЕ

Я к Юрке залетел, проверить его готовность к выходу.

Меня временным флагманским полчаса назад назначили и немедленно направили к Юрке, его лодка через пирс от моей была привязана. Они в ночь уходили и сейчас стояли уже под парами.

Вокруг юркиной лодки наблюдалась суета и брожение, все чего-то втаскивали внутрь, так что я к нему вполз совершенно беспрепятственно — хоть бы кто меня остановил.

Юрка сидел на ЦДП.

— Саня! — бросился он ко мне.

— Так! — сказал я ему навстречу. — Я к тебе на мгновение. Ты замечания по проверке штабом флота устранил?

— Ну!

— Все! Я тогда побежал.

— Саня, погоди.

В глазах у Юрки была мольба, я опрометчиво остановился.

— Что еще?

— Посиди за меня часа три на вводе.

— Ты с ума сошел.

— У тебя же никого, а я к жене на палку сбегаю. Я мигом. Только вставлю и назад.

— Ты что, совсем что ли?

— Да ты не бойся, тут все равно никто никого не знает. На ужин в кают-компанию сходишь. Скажешь, что ты с нами в автономку идешь.

Взгляд у Юрки был, как у больной собаки. Я подумал: ну, вставит один человек другому палку — что в том плохого?

На ужин я надел юркину кремовую рубашку и пошел в кают-компанию.

За столами были только командир, старпом и пом, и больше никого.

Когда я вошел, они на меня уставились.

Я, естественно, медленно сел и неторопливо поискал где тут у нас нож с вилкой.

— Я извиняюсь, — вежливо спросил меня командир, — а вы кто тут будете?

— Я? — в мою искренность поверил бы сам Будда. — Я начхим соседей. По приказу командира дивизии с вами в автономку иду.

Командир немедленно посмотрел на помощника, а тот тут же уткнулся в тарелку.

— Вот я же тебе говорил, — сказал ему командир, — что ты ни хрена не знаешь, кто с нами в море идет.

С тем мы и поужинали.
А Юрка пришел часа через четыре.
Радостный, собака...

ЧЕРТ

9 мая у нас Касьяныч родился. В смысле, боцман. Дней пять он с бабы не слезал, а теперь решил отпраздновать — сорок лет все-таки — и всех пригласил — электрика нашего Модеста Аристаховича, торпедиста Козина Александра Семеныча, трюмного Кузьму Пантелемоныча по кличке «Черт», чумазого с руками до колена, как с картины передвижников «Кочегар», и нас со старпомом.

Мы с Андрей Антонычем припозднились и когда к Касьянычу на пятый этаж вползли, то мичмана наши, прошлые и настоящие, уже были весьма утомлены, а Черт вообще на подоконнике сидел спиной в открытое окно, потому что весна и солнце, и улыбался всему улыбкой идиота.

Нам с порога налили, и Андрей Антоныч гост произнес:

— Касьяныч! Сорок лет — это только начало. Посмотри на себя: молодой, сильный, красивый, краба все еще ловишь, причем, заметь, женщины от тебя без ума. Вздрогнем по этому поводу.

И мы вздрогнули, а Черт откинулся на спину, вливая в себя рюмку и... выпал в окно...

Все оторопели, особенно Козин с Касьянычем, а Модест Аристахович даже рыгнуть себе позволили.

В наступившей тишине Андрей Антоныч рюмку на стол поставил и сказал:

— Может, кто-нибудь в окно все же выглянет и узнает как там дела?

И я подошел к окну.

За подоконник я высовывался, кажется, целую вечность, исказив себе внешность.

Я ожидал увидеть Черта, размазанного по земной поверхности, и эти, как их, части, части, все в крови, все разбросано, растерзано, бедлам.

Но под окном было чисто как никогда — никого.

— Как никого? — сказал старпом, и в ту же секунду все в то окно как ринулись, расталкивая друг друга, посмотреть.

Внизу был только снег, и он был белый.

— Эй! — послышалось вдруг сзади, и мы немедленно обернулись.

В дверях стоял совершенно живой Черт.

Он упал с пятого этажа на заснеженную почву, прокатился по сугробу, встал, отряхнулся и опять поднялся на пятый этаж.

— Видишь ли, Саня, — говорил мне потом Андрей Антоныч, — некоторых убить почти невозможно. Нет оснований. Жил человек и ума не нажил. А провидение все ждет, когда он ума наживет, чтоб не шутки ради его по башке трахнуть — велика ли без ума добыча, никакой без ума добычи, — а чтоб со смыслом. То есть, провидению неинтересно просто так убивать человека. Ему интересно, чтоб ты сперва поумнел. Так что наш Черт может даже с самолета грох-

нуться, и ни хрена этому таракану не будет. До земли долетит, ручки растопырит и мягко пришмандорится. Это ж надо, с пятого этажа упасть и даже не покарябаться! Учись, бля! А то все книжки читаешь ...

**РАССКАЗЫ
«НИЖНЕГО»**

РАССКАЗЫ «НИЖНЕГО»

Эти истории мне рассказал Расавский Александр Сергеич — вечный «нижний».

Он цирковой акробат, в пирамиде — нижний — всех держит на себе.

«Я же человек неумный, — любит говорить он, — я же на голову ловил!»

Что-то в этих рассказах я изменил, фамилии например, но в общем-то, как мне кажется, я не очень наврал.

СНЕГУРОЧКА

В цирке проходили праздничные новогодние представления. Выезжал на арену Дед Мороз со Снегурочкой и поздравлял ребят. Дед Мороз на лошади: «Дорогие дети! Поздравляю вас с Новым Годом! А за то, что вы хорошо учились и слушались родителей, мы приготовили вам сюр-

приз» — после этих слов из-под купола цирка на арену спускали сказочный ящик, из которого, после прикосновения к нему Снегурочки, выскакивали два эксцентрика Федя и Боря — небольшие человечки — и начинали свой номер.

Федя с Борей помещались в ящик, а потом поднимались под купол минут за пятнадцать до начала представления. Там они мирно висели над землей и ждали, когда их опустят.

Однажды Федя до представления нажрался простокваши с черным хлебом, отчего уже в ящике, под куполом, принялся отчаянно пердеть.

И все бы ничего, но только лежали они в том ящике, для экономии места, валетом.

Через пятнадцать минут Боря уже был в полуобмороке.

А когда, со словами «мы приготовили вам сюрприз», ящик опустили и Снегурочка бросилась его открывать, то, во-первых, она сморщилась, потому что газы в ящике приобрели к тому времени еще и сизый цвет, а во-вторых, она сказала совершенно несвойственные для Снегурочки слова: «Ой, блядь!» — после чего из ящика вывалились два эксцентрика, причем на обоих было страшно смотреть.

После представления эксцентрик Боря написал жалобу на Федю.

Но представления никто не отменял, и пришлось Боре опять ложиться с Федей валетом.

Феденька перед каждой посадкой в ящик теперь ел простоквашу с черным хлебом, а всем желающим охотно объяснял: «Я ему покажу, как кляузы писать!»

ОБ ОПЕРЕ

Прошлая моя жена оперная певица, выступала, пела, и теща тоже очень близка к этому виду горлового искусства. Страшно я ей не нравился, но особое отвращение она питала к тому, что по своей спортивной специальности я боксер, а в цирке — на голову ловлю.

А тут ко мне в гости приехал Боря Мотвиенко, призер Союза в тяжелом весе, очень неторопливый с виду парень.

Сидим вечером у телевизора — в нем оперу дают — слушаем.

Теща — прямая, как мама Макбет перед приступом, в мою сторону не смотрит, но чтоб меня хоть как-то унижить, говорит, обращаясь к Боре: «Борис! Не кажется ли вам, что тенор слаб, немного фальшивит, а все потому, что чувства овладевают им не сразу, не вдруг, хотя где теперь найти хорошего тенора?»

Надо вам сказать, что Боря был знаменит своим хуком слева, а посему партию «Дона Карлоса» слушал редко, но ему внезапно захотелось поддержать разговор.

— Как он поет, не знаю, — сказал он со значением, — не берусь судить, но стоит он под левую.

БАЛКОН

В цирке всякое бывает. А уж если мы на гастроли выехали — это держись. Во-первых, мы в гостинице живем, во-вторых, баб водим.

Был у нас Гриша Мирославский — красавец, здоровый, воздушник, на трапеции за руки ловил — и был он лицом похож на артиста Басова. Он даже представлялся иногда одиноким девушкам: «Басов! Заслуженный артист».

Сам-то он тоже был заслуженным артистом, но цирка, а представлялся то Басовым, то самим собой в зависимости от того, какой интерес угадывался в даме.

А в то времена просто так девушку невозможно было в гостиницу привести. Это называлось «посетители», и вся гостиничная шушера за моральной стороной дела по собственной инициативе очень даже следила.

Могли нагрязнать с проверкой.

И вот Гриша привел даму в номер и только расположился поудобней, чтоб покопаться в белье, как в дверь стали ломиться: «Откройте! У вас посторонние!» — а он им через дверь: «Я заслуженный артист! У меня завтра два выступления! Дайте отдохнуть!» — а сам, зная, что они все равно сейчас ворвутся, вскочил, девушку в охапку вместе с вещами, и, пока она в недоумении озирается, туда ли ее со спины тащат, вместе с ажурным бельем на балкон: дверь распахнул, ее с размаху туда, закрыл, а сам прыжком к двери, открывает, впускает, возмущается: «Я так это дело не оставлю! Вы ответьте!» — эти его в сторону и, целой делегацией, кто в ванну, кто в шкаф, под кровать и на балкон глянули, потом: «Извините!» — и на выход, а он им в спину: «Безобразия! Я — артист! Я возмущен!» — а сам, только закрыл за ними

дверь, как ветерком на балкон, открывает, а... балкона-то нет.

Ремонт. То есть, он раньше был, и шпалы остались.

Но хорошо, что второй этаж, и девушка все еще стояла, задравшись, в кустах нежной сирени.

Когда он выглянул, ошалевший, она ему проорала: «Я тебе покажу! Заслуженный артист!!!»

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

В Средней Азии мы часто работали. Ашхабад, Самарканд — это все наши города. Там нам арбузы дарили. Я же нижний, и очень большой по тем временам был. Я как выйду на базар в майке, так мне арбуз почти бесплатно дарят.

И вот приехали мы, расположились, дело под вечер, я — на базар за арбузами, а народ в ресторан — жажду унять.

Иду с базара, навстречу мне Рая из кордебалета: «Саня! Выручай! Наши в ресторане драку организовали, и их там милиция вяжет!» Говорю ей: «Сторожи арбузы!» — а сам туда.

Я же не пью, потому вхожу, милиция, наши стоят все уже на улице, а перед ними человек лежит укокошенный — постарались, черти. Ну, не совсем, конечно, умер, но вряд ли он сегодня сможет обратиться к воспоминаниям.

Я к ним, говорю: «Я — председатель Госцирка СССР, это все мои люди, в чем, собственно, существо дела?» — и милиция давай объяснять,

что, мол, драка, а тут и наши оживают, видя, что поддержка от Госцирка есть, и начинают объяснять, что, мол, сидим, отдыхаем с коллективом, а у нас и женщины, и тут к ним пристают. А Серега Береза, очень хороший акробат, тройное сальто, единственный в Союзе, горячится больше всех и говорит милиции: «Отдыхаем! А этот вдруг в залупу полез!»

Я тогда впервые это выражение насчет «полезания в залупу» услышал. Еще подумал: «Надо же! Это ж еще представить себе надо!»

Помню, это слово тогда все и решило. Того так и оставили лежать, а милиция разошлась.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ

Работали мы программу, и был у нас там Микола Драгопенко. Очень хороший «ханвальтиш».

«Ханвальтиш» — это тоже акробатика, когда два нижних перебрасываются одним верхним: он на них выходит в стоечку, сальто делает и все такое, а они его друг дружке перебрасывают.

Так вот Микола очень хотел «заслуженного артиста» получить. Если где какие награждения, то обязательно поинтересуется: не дали ли ему «заслуженного».

А тут я был как-то в очень хорошем настроении, вижу, идет навстречу Микола, дай, ду-маю, и ему настроение улучшу.

— Микола, — говорю, — был на днях в главке у Бардияна и там, у секретарши Раечки, ви-

дел на тебя приказ. Она его перевернула, но я-то прочитал: «заслуженного» тебе присвоили.

А я вообще читать не умею. В цирке это любая собака знает. Меня когда принимали в цирк, спросили какие у меня особенности, я им и сказал: я вообще читать не умею.

Но Микола, как только услышал, про все забыл, руку пожал, спасибо, говорит, за хорошие вести, а я ему — пожалуйста — мне же ничего не стоит человеку сделать приятное.

Тут и Витя напарник идет. Я ему глазами: требуется подлить, он меня понял — к Миколу, руку трясет: поздравляю, уже весь цирк в курсе.

А в воскресенье вечером Микола для всех стол накрыл — отпраздновали.

Очень он потом переживал.

А выступали потом в Ростове, и к нам мой прошлый напарник Игореха зашел — Ростов это его родина, — в костюме, при галстукке. Я его как увидел, так подбежал, руку трясу, интересуюсь, надолго ли к нам, Игорь Серегейч.

У Игоря имя-отчество такие же, как и у начальника иностранного отдела, от которого зависят все заграникомандировки, а в лицо ни того, ни другого никто не знает. Все это при Миколу происходит, а Игорек мой уже понял, кого мы сейчас работаем, стоит и подыгрывает, мол трудности с подбором, а Микола уже уши свернул, потом подходит, нельзя ли вас пригласить от широты души.

Игорь покривлялся для вида: с подчиненными, вы же знаете, а тот — ну, я вас очень прошу.

Сели за стол — коньяк, закуска — и стал Микола всю программу валить: тот пьет, а этот — гандон, а вон тот — вообще пидор.

Словом, никого не забыл.

Ну, и все узнали.

У нас потом долго ходило выражение: «Как артист он очень слабый, зато как человек — говно».

ТОЛЯ

А как загранкомандировки пошли, тут житья не стало, особенно Толе Смыслову.

Толя — замечательный клоун. Клоунов настоящих мало, а Толя — это от бога. Он выходит, и уже хохот. Это редко у кого получается. Я очень мало знаю таких людей.

Он мог с табуреткой выйти. Опаздывает, все волнуются, один номер откатали, второй — где Толя?

И тут он врывается, на ходу табуретку зацепил и с ней на арену — и гомерический хохот.

А попробуй их рассмеши: кто-то с бодуна, кому-то жена что-то сказала, а он вышел — гогот.

Редкий талант, но пил. Любил это дело.

А тут на него как стали докладные писать: всем же в заграницу хочется.

И вызывает его Бабкин Александр Иванович, начальник художественного отдела, бывший полковник, зануда, в отставке.

Почему-то полковников в искусство так и тянет.

Вызывает и начинает: «Толя, пойми, ты самый лучший клоун. Лучше тебя нет. И я все-

гда на тебя смотрю с таким удовольствием, но тут не могу. Любишь выпить, а клоун — это же лицо советского цирка». — «Это все клевета, — говорит Толя, — врут». — «Ну, где клевета, где? Вон сколько докладных». — «А вы не верьте!» — «Ну как не верить? Как?» — «А так! Не верьте и все!» — «Но все же говорят...»

И тут Толя к нему интимно наклоняется: «Александр Иванович!» — «А?» — «Ну, что вы «все говорят». Вот про вас говорят, что вы — говно, но я же не верю».

ПРО ЛОШАДЬ.

Муторный это рассказ. Никому не рассказывал, но один раз, наверное, можно.

А может, и нужно.

Я же к животным отношусь лучше, чем к людям. И мне даже сейчас, через столько лет, тяжело вспоминать, хотя сам я это не видел и мне это тоже рассказывали.

Дело было во время войны на Дальнем Востоке. Немцы всю наступают, а цирк только приехал, разгружается.

И была у них старая лошадь. Только одна, больше нет, остальных-то забрали.

И решили ее на мясо прирезать, зверей покормить.

Взяли молоток и дали ей в лоб, а она не падает, ошалела, у нее только один глаз от удара выскочил и на нерве мотается.

Тут ее второй раз бить, но кто-то прибежал, крикнул что реквизит надо подвезти, забыли, и тогда ей заправляют глаз на место, впрягают, привозят на ней, совершенно очумевшей, реквизит, а потом — дорезали.

Я это никому не рассказывал.

АНЕКДОТ

Анекдоты я люблю. Как только новый, так всем в цирке расскажу. Цирковые юмор ценят, но порой и среди них случаются обломы.

Рассказали мне историю: один еврей потерял паспорт и пошел в милицию заявление писать. В графе «национальность» он вместо «еврей» написал «иудей». Потом приходит за паспортом, а там в графе «национальность» стоит «индей». Он к девушке: «Ну, что вы себе позволяете? Я — иудей, то есть еврей! А тут у вас что?» — тогда она, чтоб бланк не портить, дописывает: «индейский еврей».

Всем рассказал, все смеются, — навстречу Санька Котеночкин — прекрасный эксцентрик — я к нему с «индеем», рассказал — Саня молчит, будто продолжения ждет, говорит: «Ну?» — я ему еще раз рассказал — он опять: «Ну?!» — рассказываю третий раз и по буквам: «Ин-де-й-с-кий е-в-рей!!!»

Наконец, он лицом светлеет и говорит: «Так, евреи же разные бывают. Вот я слышал, бывают горные евреи».

ЭКСЦЕНТРИКИ

Федя с Козленковым — очень хорошие эксцентрики.

А эксцентрики — это ужас, а не работа. Это на одном дыхании. Тут и сердце, и легкие, и сила, и темп, и координация. Они мокрые через полторы минуты, выжатые как лимоны.

А номер — до автоматизма: выскочили — понеслась. И ровно полторы — ни больше, ни меньше.

Приезжаем в Ереван. А там в цирк сейчас же вербовщики налетают, вербуют. Подходит один: «Мне эксцентрики нужны». — я его к Феде. Тот: «По какому номеру работаем?» — «По двадцать пятому». — «Годится»

«По двадцать пятому» — значит, по двадцать пять рублей.

«А сколько у вас номер?» — «Полторы минуты». — «Эх, там же дети. Две бы. Или две с половиной».

А такого не бывает. Федя зовет напарника: «Вот, есть работа». — «По какому номеру?» — «По двадцать пять». — «Годится». — «Только подольше просят». — «Сделаем подольше».

Тут вмешивается вербовщик: «А на сколько подольше сможете?»

Козленков, не задумываясь: «На час!»

Я тут же, пятясь, и вышел.

АРМИЯ

В армии я матом научился ругаться. Я же на литовском хуторе воспитывался, а там про мат никогда не слышали. Так я в армии мат конспектировал и тренировался в произношении.

Я же боксером в спортроте служил. А спортсменов в армии не любят. Ты тренируешься, они — служат.

То есть чуть чего — в роту на перевоспитание.

А там меня сразу дневальным к тумбочке.

А в роте никого нет, все на учениях, и ночью я на своей смене решил, что зачем зря пустое помещение охранять, закрыл дверь на швабру и пошел спать.

А утром капитан Безбородько влезает с помощью мата в окно: «Кто дневальный? В холодную!» — и запирают меня в холодной, а там воды по щиколотку. Стою, а Дима, второй дневальный, мне через окошко подшивку газет из ленкомнаты. Я их под ноги бросил и встал.

Вытащил меня замполит.

У нас замполит только матом разговаривал. И еще он сильно курил — руки по локоть в никотине.

Затянется — фуражку с затылка на лоб двинет, еще затяжка — со лба ее на затылок, в промежутках: «Ииии-о-банный в рrrrrот!!!»

Доложили ему, что я в «холодной», и он пришел меня навестить.

— За что сидим?

Я ему объясняю, что проспал.

— Нехорошо, сынок! А если б война? А подкрадутся? А всю роту перережут? Ну? Осознал?

— Осознал, — говорю.

— И что теперь?

И я ему очень серьезно:

— Теперь, наверное, расстреляют.

Он мне:

— Пощц-щел вон отсюдава! Ииии-о-баный в ррррот!!!

И освободил меня.

А я еще любил честь в движении лейтенанту Макарову отдать левой рукой. Он меня останавливает: «Почему левой?» — «А я левша».

С тех пор мы с ним часто тренировались по отдаванию чести. Я у него потом много раз спрашивал: «Товарищ лейтенант, разрешите вопрос насчет отдавания воинской чести?» — «Да-да?» — «А вот если начальника я в окне увижу?» — «Ну, если он на вас смотрит...» — «А если окно на втором этаже?»

Мы так с ним до четвертого этажа доходили. Причем я этим раз в неделю интересовался.

А честь ему отдавал за пять-шесть шагов, переходя на строевой. Я его где только издали увижу, так сейчас же бегу навстречу и начинается наше представление с отдаванием.

А однажды я в правой руке дрова нес, и он, как назло, навстречу. Так я левой, изогнувшись, приложился к правому виску, но честь отдал.

Меня на учения рассыльным при генерале за эти мои художества сделали.

Они посчитали, что генерал меня загоняет.

А генерал — герой Советского Союза Зябликов Павел Андреич — ростом с полено.

Я к нему подхожу с докладом: «Ефрейтор Расавский прибыл в ваше распоряжение!»

А он на меня глянул: «Эк тебя разукрасили, как елку!» — а на мне шинель в скатку, лопатка, противогаз, оружие, под сумки, котелок, химкоплект, палатка, накидка.

— Идти можешь?

— Так точно!

— Вот и иди к вертолету. Эй, кто там? Покормите ефрейтора.

Я с ним две недели на вертолете катался. Как приземляемся где, он сразу: «Покормите ефрейтора!»

За две недели учений я только ел и летал.

В часть вернулся, а на комбата смотреть страшно: не спавший, не бритый, глаза ввалились.

Его мой румяный вид из себе вывел просто немедленно — он меня тут же на губу посадил.

А потом меня обратно в спортроту отдали.

И вот стою я уже с товарищем по спорту и наблюдаю, как старшина поставил в ряд десять БТР-ов справа и десять слева, а один — во главе.

Появляется замполит и говорит ему, чтоб он этот одинокий БТР поставил бы сзади. Он — «есть, сзади!» — вжик! — и он уже сзади.

Идет зампотех: «Старшина! Этот БТР поставить справа!» — «Есть!» — вжик! — стоит.

Идет комбат: «Старшина! Этот БТР поставить во главе!» — «Есть! Во главе!» — опять — вжик!

Стоит БТР во главе. Вылез старшина из него, пот утирает.

Тут мы с другом идем мимо: «Товарищ старшина! Мы тут смотрели на ваши перемещения и тоже решили вам сказать, что этот БТР надо поставить слева. Он там еще не стоял!» — «Да идите вы оба на хер! ОБА!»

И мы пошли. Оба. Так я и служил.

СЛОНЫ

Я слонов люблю. Вернее, слоних. В цирке работают только слонихи. Они умнее. Животные вообще-то всякие бывают. Это как люди. Бывают и глупые, хитрые.

Вот медвежата — те, как дети, пальцы сосут. А вырастет тот медведь, и не знаешь когда он на тебя бросится. По нему же не видно.

По тигру видно: уши назад, в глаза смотрит, хвост, рычит.

Меня тигрица любила. Как подойду, так давай ласкаться. Или на плечи лапы положит и лижет. Я ей мясо все время таскал — она и любила.

А слоны — умные. Они увертюру свою слышат, и уже волнуются, переживают, знают: сейчас на выход.

В цирке же животных бьют.

Я за это дрессировщиков не люблю. Любых. Заслуженных, с медалями, по телевизору их показывают. Не люблю и все.

И слонов бьют. Я это видеть не могу. Будто меня бьют.

Там Катька была. Слониха. Она меня слышала, когда я к цирку подходил. Выставит хобот и нюхает воздух.

Слон слышит такие звуки, которые человеку и не снились. И запах он чувствует даже против ветра.

А память у слона — всю жизнь помнит.

Я на подарки Катьке столько денег извел.

А она встречает — как тут без подарка. Хлебушек она любила, корки арбузные, сахар — это обязательно. Подойдешь — она хоботом по лицу пошарит, погладит, нежно-нежно, ласкается, потом скользнула в карман — а там кошелек — она его хлоп — и в рот, и довольная — обманула.

Любила, чтоб я ей за ухом почесал. А уши у них чувствительные, нежные, теплые.

Однажды всю ночь не отпускала. Хоботом — хватать — и к себе. Я ей: «Катя!» — а она ни в какую. Тосковала.

Перешагивала через меня. Номер такой. Я ложусь, и она шагает, аккуратно, и смотрит — внимательно.

Я под нее подлезал, упирался в живот и, вроде, поднять ее пытаюсь, а она хитро так смотрит исподлобья как у меня это получается.

Однажды в Ереване ее приковали за ногу к батарее — умнее ничего не нашлось...

А цепь на слоне — это только для видимости. Он ее рвет, как нитку.

А тут она дернулась и батарею сорвала. Вода струей, горячая, слоны испугались, все цепи порвали и выскочили на арену. На арене как раз

собрание ветеранов, потому что праздник, 9 мая, ветераны еле ходят, до колена в медалях.

Так вот, все, кто был, даже калеки безногие, как слонов обезумевших увидели, так под потолок и взлетели. А калеки, те на верхотуре были даже раньше всех.

А мы за слонами вылетаем, чтоб назад их повернуть. А как повернешь, если маленького слоненка вчетвером пытаемся остановить, а он же, как сундук квадратный, тащит нас на канате.

А успокоить их можно только голосом. Ласковый должен быть.

Я тогда к Катьке подбежал и говорю ей возмущенно: «Катя! Ну в чем дело! Ну как ты себя ведешь?!» — а она мне сразу хобот в руку, видит, что я волнуюсь, успокаивает.

Так я их с арены и увел. Катьку, а за ней и все остальные ушли. Катька у них вроде жожака была.

Они ее уважали.

А весной, тоже однажды в Ереване, слоны на улицу вышли. Весна же, как сдержать?

Катька во главе, остальные за ней. Идут и машины переворачивают.

Ко мне: «Саня! Катька вырвалась, на улице что только не творит!»

Я туда — «Катя! Катя!» — остановились, и повел я их назад.

На светофоре машина пыталась впереди нас проскочить, так Катька как свернет свой хобот да как даст им по асфальту — как выстрелила, и трещины во все стороны пошли.

Хобот у слона что кувалда.

Однажды пришел в цирк человек. Объявление было: «Требуется рабочий для ухода за слонами», — вот он и явился. Я ему сразу объяснил: «К этим подходи, они стерпят, а к Кате нельзя», — и он меня не послушал, полез к Катьке.

Та ему как закатила хоботом, так он стену прошиб — и сразу в больницу.

А как-то приходит девушка в цирк: «Я хочу за слонами ухаживать!» — ей говорят: «Девушка, это очень тяжело. Слон ест двести килограмм в день и пьет за раз пятнадцать ведер, не говоря уже обо всем остальном». — «О чем остальном?» — «Саня, покажи девушке слонов».

Мы только вошли, я говорю: «Катенька, познакомься». — а Катя хоботом девушку — хватъ! — и качать — вверх-вниз — у той юбка на голову.

Потом поставила на пол — девушка белая. Больше она не приходила. Но сахар Катеньке дала. На язычок положила лично — а как же, та же работала.

Катьку потом убили. Забраковали и убили. Не в цирке. В зоопарке. Ее из цирка отбраковали в зоопарк, потому что она несколько человек убила.

Сначала в английском цирке парочку, потом в нашем.

Она же из английского цирка к нам попала. Что-то они с ней там сделали.

Злая была очень.

А меня любила.

Вот.

НЕСКОЛЬКО ЗАРИСОВОК

ПЕРВАЯ

Кошке не повезло. Ее ударила машина, да так, что кошка вылетела через кусты на тротуар и сейчас же умерла.

За всем этим внимательно наблюдали я и две вороны. Все было так быстро, что я не то чтобы пожалеть кошку, я даже ойкнуть не успел.

Вороны подлетели и сели рядом с тем, что еще минуту назад было кошкой.

Они подождали немного, потом старшая подошла и клюнула — кошка не пошевелилась, тогда к ней подошла младшая.

Вороны увлеклись и не заметили, как в воздухе появился он.

Он летел, как орел.

Над кошкой он сделал такой великолепный разворот, что я сразу понял, кто здесь хозяин. Хозяином здесь был ворона самец. Он был гораздо крупней первых двух и не обращал на них ни малейшего внимания.

Он подошел и неторопливо приступил к потрошению.

Две прежние вороны немедленно отступили.

Они перелетели на детскую площадку. Там старшая села на спинку скамейки, а младшая устроилась на земле.

Старшая смотрела перед собой, в ее голове явно что-то происходило, и вдруг, наклонясь к младшей, она начала раздраженно каркать, и я понимал, о чем идет речь: «Я говорила? Говорила? Говорила тебе? Говорила?»

Видно, она говорила младшей, что надо бы кошку в сторону оттащить, а та ей сказала, что все и так обойдется.

«Говорила? Говорила я?» — не унималась старшая.

Младшая распушилась, как если б ее зазнобило, и замерла, но вот неожиданно она ожила. Повернувшись к старшей, она, с приседанием, начала: «А что ты говорила? Что? Что? Что? Что? Что ты говорила?» — потом она замолчала и повесила клюв.

Обе выглядели совершенно несчастными.

Больше они не разговаривали и сидели, отвернувшись друг от друга.

Потом старшая слетела к младшей, тихонько, маленькими шажками подобралась, встала рядом и каркнула примирительное: «Да ладно!» — «Ну да, ладно» — сейчас же каркнула младшая и повернулась к ней.

Потом они взлетели легко.

ВТОРАЯ

Жена:

— Позвони Шендеровичу.

Я, после некоторого внимательного созерцания:

— Это чтоб в «Куклах» что ли участвовать?

— Почему в «Куклах»? — сказала жена и добавила, вроде про себя: «Дурак!» — Причем тут «Куклы»? Насчет санатория позвони, кардиологического.

— А-а... Так это к Шимановичу...

ТРЕТЬЯ

Мне надо было для цветов земли накопать. Я отправился в парк. Там, на безлюдной аллее, я присел на корточки и стал лопаткой набирать землю в пакет.

Ко мне с дерева спрыгнула белка.

«А чего это ты здесь делаешь, а?» — говорил каждый ее прыжок в мою сторону.

Она полезла мне под руку, проверяя, что я тут рою.

У нее, наверное, были здесь припрятаны запасы, и она боялась, что я за ними пришел.

В другой раз я явился под тоже самое дерево с абрикосовыми косточками. Косточки были большие, высохшие. Я постучал по коре. Белка вылезла из-за ветки.

— Косточки будешь? — спросил я.

«Сейчас поглядим, что там за косточки», — казалось, ответила она и быстренько слетела вниз. Я присел и раскрыл ладонь.

«Ну-ка, покажи!» — белка обнюхала ладонь с внушительной горкой, схватила одну косточку и тут же, отпрыгнув, быстренько ее зарыла в листву.

Потом она вернулась и схватила другую. Я высыпал косточки на землю. Она подбежала, схватила третью и отпрыгнула в сторону, потом вдруг вернулась к кучке, оценила, что там еще косточки имеются, и только после этого побежала зарывать ту, что держала в зубах.

Так она перетаскала все косточки, потом подбежала ко мне и обнюхала мои ладони — а вдруг я чего утаил или утащил с собой, не дай Бог?

ЧЕТВЕРТАЯ

Дед не пришел вовремя с завода.

Обычно он приходит в шесть, а тут — нету. Я позвонил тете Нине:

— Ну что?

— Нет деда. С проходной сказали, что в пять вышел. Он когда задерживается, то на проходной говорят, что он в цехе.

Я, как мог, успокоил тетю Нину.

Пришла с работы жена, узнала, что уже полвосьмого, а деда нет, и позвонила теще — та плачет.

Жара. Тридцать два в Питере. Все может случиться, деду семьдесят пять.

— В службу происшествий на транспорте надо звонить!

Лица напряженные.

— Да жив он, жив! — пытаюсь разрядить обстановку.

Позвонили в службу происшествий — там сказали: «Позвоните позже».

Прошел час, теще плохо, все собираются ехать и успокаивать тещу, потянулись разговоры, мол, смерть не выбирает.

Вдруг звонок. Теща. Голос у нее не лишен презрительных ноток:

— Явился!

— Выпивши?

— Ну!

Жена, перехватывая у меня трубку:

— Папа! Папа! Ты где был?

Некоторое неторопливое молчание на том конце, потом:

— Я был на кладбище.

— Где?

— На кладбище!

— Зачем?

— Я там место себе выбирал.

Дед после работы, пьяный, в жару, съездил черти куда — на Южное кладбище.

Я в это время уже сидел в туалете. Вот я там смеялся!

ПЯТАЯ

Катьке тринадцать лет. Некрасивая, нос — пуговка, живые глаза, и смотрит ими на мир, Катька восторженно, будто счастье-то вот оно, ждет ее за каждым поворотом.

У Катьки бабушка, дедушка, мама и брат.

Мама у Катьки уже два раза подшивалась на счет алкоголизма, так что на маму Катька не надеется. Катька сама работает — продает мороженое на улице и считает в уме. Двадцать рублей восемьдесят четыре копейки умножает на что хочешь, а маме Катька звонит: «Мама, не забудь, сегодня последний день. Надо сдать мои старые учебники в школу, и получить новые!»

Звонит Катька с другой работы. Она по накладным отгружает товар. Косметику. Работает она на складе у моей жены. Мороженое ей не дают теперь продавать — очень маленькая.

— Катька! — говорит жена, — Ты сегодня так работала, что я заплачу тебе сто рублей. Ты сегодня заслужила.

Обычно Катьке платят рублей двадцать, но сегодня она просто поржала по складу.

Когда она пришла за зарплатой, то выяснилось, что, по ее подсчетам, она работала уже пять дней и ей положено пятьсот рублей.

— Катька! — говорит жена, — Тебе палец в рот не клади. Твою работу буду оценивать я.

Дома Катьку зовут «Кубышкой» или «Процентщицей». Она дает маме деньги в долг под проценты.

Однажды мама дала ей пять рублей, Катька отправилась к игровым автоматам и сейчас же выиграла там тысячу. На двести рублей купили Катьке брюки — она их давно хотела — остальное отдали в дом на еду.

Катька с мамой живет в Волхове, а бабушка у нее живет в Питере.

— Бабушка! — говорила Катька бабушке по телефону, — Я говно буду есть, только забери меня отсюда.

Вот бабушка Катьку и забрала. Теперь Катька сияет.

ШЕСТАЯ

Недавно видел Хакамаду по телеку. Нравится мне эта тетка. Хакамада у меня с демократией ассоциируется. Есть Хакамада — есть демократия, умерла Хакамада — умерла демократия. Чихнула Хакамада — демократии нездоровится. А еще демократия может надеть новое платье, съездить в Швейцарию, выйти замуж не единожды, породить кого-нибудь, поменять имидж, прическу.

Мне еще Валерия Новодворская нравится. Наша непримиримость. Вот непримиримость не может выйти замуж, поменять прическу, нарожать детей от разных мужей. Она может только полысеть.

СЕДЬМАЯ

Соседская Машка принесла котенка. Одного единственного. Ей пять лет и родила она впервые.

Теперь всем котенка показывает. Как кто придет, она сейчас же его тащит.

И к нам домой она его приволокла.

Только она не знает за что тащить и тащит за лапу, а котенок пищит, тогда она разжимает зубы, и он на землю шлепается.

— Дурочка, — говорю я ей, — его же за шкурку надо брать и лапы широко расставлять, чтоб он между ними болтался. Смотри как.

Я ей показываю, она внимательно смотрит.

У меня большой опыт. Моя собственная кошка Белка два раза рожала, и оба раза я ее котят даже учил как надо на горшок ходить. Сама Белка понятия об этом не имела.

Я вставал в семь утра, а эти рожи в это время вылезали из коробки, плюхались на пол и начинали кружить.

Тогда я хватал первого и сажал в кювету — он сейчас же там писал. Первого вон — сажаю второго.

И так всю ватагу. Все шесть штук.

А потом они начинали стаяй бегать. Топали на всю комнату — гадах-гадах-гадах!

— Стой! Куда! — у дверей кухни вся эта банда остановилась и стоит как вкопанная. На кухню им нельзя. Они уже знают.

— Назад! — все вдруг поворачивают и улепетывают.

А одна маленькая самочка все время бежала и рычала на бегу — ры-ры-ры!

Однажды один котенок влез между шкафом и плинтусом, застрял и начал орать. Белка бегала и звала на помощь. Я немного отодвинул шкаф и тогда только ухватил его за хвост.

Белка, когда рожала, всегда нас ночью будила — идите, принимайте мои роды.

Мы сидели, она тужилась.

У нее были красивые котята. Мы всех раздавали.

Так вот, Белки давно уже нет, и теперь к нам приходит соседская кошка.

ВОСЬМАЯ

Наталья Всеволодна Вишневецкая, немолодая уже дама в драповом пальто, никогда не выходила вечером на прогулку без Долли.

Долли — крохотная чи-хуа-хуа, уши на дрожащих ножках — всегда сидела у нее за пазухой, откуда эти уши и виднелись эпизодически.

Наталья Всеволодна, собственно говоря, уже возвращалась домой, когда у парадного ее нагнал этот запыхавшийся голос: «Бабка! Гони деньги, а то глотку вырву!»

Она обернулась и увидела верзилу с ножом. Улица была пустынна.

Ухмыляющаяся харя верзилы нависла над ее лицом.

В этот момент Долли вылетела из-за пазухи и вцепилась ему в нос.

Беднягу увезли на скорой. Он умер от болевого шока.

Наталья Всеволодна поставила в церкви свечку за его упокой и долго просила Иисуса Христа не наказывать неразумную Долли.

ПИСЬМА

«Саня, это Бедеров. Меня опять чуть не отправили в «психушку». И опять из-за твоих рассказов. Еду в метро. Высушенный и вые... после работы. Стал читать главу «Письма» в «Корабле отстоя».

Одним словом, от «Кузнецкого моста» до «Сходненской» (а это двадцать пять минут) я только по полу не катался. Мои попутчики получили серьезное основание усомниться в моей адекватности.

И еще. Тут гулял, намедни, у друзей на дне рождения. Давненько я не был в таком «ударе». Попил коньячку на три с лишним тысячи рублей. Именно столько стоит унитаз, который я умудрился расколотить. Как? Это для меня до сих пор остается загадкой».

Вежливый ответ: «Садится надо аккуратней. Желательно не головой».

«Вести из нашего универа, отделение иностранных языков.

Калуга по весне что твоя Венеция. То есть дерьма — море разлитое, чистым в любом

случае больше 100 метров не пройдешь. Народу у нас много учится, иностранного в том числе, и вот один америкос приперся в храм науки, возвышающийся над всем этим весенним безобразием, в модельных лакированных ботиночках на тоненькой такой подошве.

А наши ему и говорят: что ж ты, на хуй, такие ботинки нацепил? Они ж развалятся потом через два дня! К тому же копыта отморозишь.

У адресата в глазах тихая паника. Он начинает вертеться и осматривать себя с такой энергией, как будто ему шмеля в штаны засунули. Я-то подумала, это у него реакция на критику такая, ну, и утешаю: не плакай, мол, родной, можешь ходить в чем угодно, у нас свободная страна, тебе просто дружеский совет дали.

А он так заговорщически отводит меня в сторону и говорит, попеременно краснея и зеленея: что совет дали, это как раз ясно; только я не понял кое-чего:

1. С чего он взял, что я на хуй что-то надевал?
2. Почему на вышеуказанном месте у меня, по его мнению, ботинки?
3. Почему они должны развалиться?
4. И где это на хую копыта?

С весенним приветом, Ольга».

«Да, это опять я. Нынче пойдет мое повествование о нашем Илюше, бывшем военном летчике, ныне торгпреде и куростреле по совместительству (в том смысле, что он курами стрелял по авиационному стеклу, чтобы на прочность проверить).

Так вот, несмотря на пенсию и песочные медали, Илюша еще очень даже молодой.

Он еще о-го-го! Вот и устроился на работу. Работа, надо сказать, еще чуднее предыдущей: бывший военный летчик стал инструктором по разным там способам передвижения на массовых гуляниях. И ходил он такой гордый этой работой, как будто его облобызал сам однорукый кайзер.

А между тем, Илюша на такой работе — это стихийное народное бедствие.

Такого ужаса не было со времен Олафа Лохматого, который заказал десять тысяч касок рогами внутрь.

Есть у нас в окрестностях небольшой парк столь же небольших самолетиков, и вот заезжим распальцованным товарищам захотелось, вишь ли, полетать. А поскольку один из них полетел с Илюшей, то он разом понял, из какого места выделяется адреналин, и почувствовал себя птицей, то есть летел и гадил.

Когда перед полетом перед славным Илюшей кинули здоровую пачку баксов и заказали «шоб все было на полную», у него возникло жгучее желание расстараться.

Ну, нельзя говорить ему: «Ямщик, гони!»

Забудем все фигуры пилотажа, которые были сейчас же проделаны с обделавшимся по самые верхние уши новым русским в кабине. Веселее был конец этой истории.

«На полную», по Илюшиным понятиям, включает такой жирный заключительный штрих, как катапультирование клиента. Нет, он не убийца,

конечно, поэтому он знает, с какой высоты и как надо выкинуть человека, чтоб он не расхерачился о землю-матушку, даже если впервые в жизни парашют видит.

Только вся проблема в том, что рычажки на катапультирование (2 штуки) клиент должен дернуть сам.

А они находятся в аккурат между ножками этого самого клиента.

А среди пилотов сие священнодействие называется «рви яйца». Понимаете, к чему я клоню, да?

Когда Илюша, после всех трюков, поворачив к клиенту распаренное лицо с дикими глазами, зычно гаркнул: «Рви яйца!» — клиент проделал именно то, что его просили.

Может, на рефлексе, а может, он подумал, что этот маньяк в форме только с таким условием опустит его на землю, не знаю, но выполнил он эту команду очень исправно.

Почему я знаю, что исправно?

Ну, потому что я видела, как клиент вывалился из кабины и побрел враскаряку.

Так ходят исключительно те, кому организовали в штанах омлет.

Потом этот бедолага упрашивал Илюшу не рассказывать его корешам, в чем там было дело.

Но я ж говорю, что Илюша не убийца, конечно, он обещал не говорить. Только вот мы все включая Илюшу, теперь удивляемся, как это можно было через джинсы ухватиться и дернуть себя так, чтоб так знатно себе все повыворотить?

Наверное, очень уж на землю хотелось».

«Сань, забыла написать: в одном журнале мне редактор сказал, что Покровский пишет про подлодки Бог знает какого поколения, и что сейчас и психологи есть, и возможности отдыха на подлодке, и масса всяких других вещей для реабилитации экипажа. Так ли это?»

«Значит, по порядку, Люсь.

Редактор — мудак. Я б его, дурака, засунул на лодку с сауной, бассейном (2х2 метра), каюткомпанией с птичками, рыбками и записью голосов ветра, птиц, дождя и листвы. Эта лодка называется «Акула», катамаран. Там и углекислый газ по всем отсекам 0.1 % (я плавал 0.3-0.5-0.8). Только когда «Акулу» хотели затащить под воду на 120 суток, то в эту автономку пошли медики и стали брать кровь на анализ у всего экипажа, и оказалось, что примерно на сотые сутки похода у народа чуть ли не безвозвратно менется состав крови. Медики охуели, а «Акулам» оставили обычную автономность (не более 90 суток) и еще сделали цикл — 60-30-60. 60 суток в море, 30 — на берегу, межпоходовый ремонт делают, и потом опять в море на 60 суток. Те же 120, только через жопу. На ребят было страшно смотреть. Напоминали они загнанных лошадей. С такими же синими кругами под глазами.

Психологи? Бывших замполитов переделали в психологов, и через ту же «еб твою мать» они

теперь все объясняют с «психологической точки зрения».

В «Шизе» все написано. Не хочу повторяться. Отдых должен быть на берегу, а не на лодке, и должен он превышать время нахождения в море. Вот и вся реабилитация.

Американцы это хорошо знают. У них 56 в море и 4 на переход до базы в надводном положении. Всего 60. Потом на 75 в Майями с семьями. Вот это отдых.

А наших за жопу и на учения. А потом у них «Курск» тонет. А они все, бедные, думают: «Отчего бы это могло случиться?» ЗАЕБАЛИ! Вот отчего.

И любой мудака у нас специалист по расслаблению и реабилитации.

Какое на лодке может быть расслабление? Там над башкой у меня десять лет лампа дневного света висела, и от нее поток излучения в несколько раз перекрывал норму.

В искусственном воздухе отсека по некоторым данным содержится до трехсот различных ароматических соединений. Даже если все они на уровне ПДК (предельно допустимая концентрация), то это все равно много. Они не витамины. И очистка их не берет, это концентрации проскока, то есть они на фильтры не садятся. Вот и дышим. ДЕРЬМОМ.

Этот клоун смог бы 90 суток расслабляться в общественном туалете?

Запахи те же. Нос их не чувствует. Атрофируется чувствительность. Человек нажирается чес-

нока (там, кстати, обалденный чесночный голод. Я мог головку сожрать), а рядом стоящий человек не чувствует запаха у него изо рта. Хоть вплотную нюхай. Мы это случайно установили.

Скажи этому козлу, что я пишу про наши лодки. И про наших людей. Которых ЕБУТ («реабилитация» — хех, уморил).

«Возможности отдыха на подлодке» — он хоть понимает что говорит?

В так называемой «зоне отдыха» на все той же «Акуле» живут не обычные, а специально выведенные птички. Привыкшие к нашему воздуху. Спецразработка. Сдохнет — не заменишь. Списываются они так же, как и любое железо: по акту.

Замучаешься списывать. Так все эти птички давно поперемерли. А рыбкам ни дай Бог воду в аквариум долъешь из того дистиллята, что мы там пьем — немедленно окочурятся.

И потом, как можно отдыхать, зная что лодка в любую минуту может утонуть или ебануть? Со мной в одну автономку парень из конструкторского бюро ходил, так он всю автономку спал в полглаза. Все боялся аварийную тревогу проспять. Мелких возгораний на 90 суток — примерно 5-6. Это норма. Провалов на глубину, когда все обсираются, — 2-3. Заклинок рулей, когда носом в палубу и лодка летит в бездну — 3-4 за поход.

Вот мудак, а?

Из-за таких вот козлов на лодках людей по десять лет держат вместо положенных пяти».

«Игорь! Только что передали по ОРТ. В Баренцевом море в 4 часа утра утонула при буксировке апл «К-159». На борту было 10 человек. Одного спасли, двое погибли, что с остальными — неизвестно.

Утонул корабль отстоя. Тащили в завод. Глубина 170 метров.

Черт знает что! Почему вели на понтонах? Она что, насквозь дырявая? Если так, то почему на борту были люди?

Их упрямо назвали вчера в «Новостях» на ОРТ «швартовой командой».

«Швартовая команда» стоит на верхней палубе и швартуется, а на переходе — это команда перехода, недаром она полностью из офицеров и мичманов состоит. И сидит она внутри пл. А если она внутри, то в темноте полнейшей, что ли? Надо же хотя бы на батарее сидеть, чтоб аварийное освещение было. А с ним и так не все видно. Как же они осматривали отсеки? Никто не спал, что ли? Раз в полчаса доклад, что в отсеках «замечаний нет». У них в центральном черти кто был: командир и целый комплект механиков. А если они осматривали отсеки как положено, то 10 человек на переход мало. Минимум в два раза больше надо. И то они двусменку будут нести. Переход-то в таком виде всяко больше суток. А волнение моря? А скорость буксировки 1-2 узла (лучше один, чтоб трос не лопнул)? Значит, не двое, не трое, а четверо суток! Они что там, не спали? Или они все спали? А проверка прочного корпуса на герметичность? Она все равно должна про-

водиться. Гниет лодка у пирса десять лет или двадцать. Без этого в море нельзя выходить. А если выходите и на понтонах, то людей убивайте! Это же элементарные вещи! Что там люди делают в полутьме? А волнение моря? Там же волны? Триста дней в году по пять метров! Это какое-то всеобщее ущербление умов. Блядь, как овцы на закляние! А послать начальство на хуй? Оно же на смерть отправляет!»

«Саша, привет, я все прочел. Не знаю, как и сказать-то...

Я службу на подводном флоте слабо представляю.

Ну, разве что еще через призму своей сухопутной службы.

Знаю, что такое армия. Наша, советская армия. Сам видел, на своей жопе испытал. Бесплатная рабочая сила... Рабы...

Что самое главное — а всем поебать, что эти молодые парни такие же граждане этой страны, как и вы, что их тоже надо уважать как личности....

Вот помнится, работы по разгрузке цемента.

Вагон 60-тонник, цемент прямо с завода, раскаленный, тепло держит до месяца.

Для разгрузки прыгать надо сверху через люки в цемент и сразу — по шею, туча пыли, ни хера не видно, утонуть — как два пальца обоссать, на улице, естественно, жара под 30. А все равно сделают. Лопатками... Только сдохнут.... Реабилитация... хм... сука...

В следующем вагоне реабилитация, ебена мать... Вот вам на роту 10 вагонов, и как хотите. Хотите ночью, хотите вчера... Причем командование отлично знает, что полроты в это время достраивает срочно-высрочно танковую директрису, их никак нельзя трогать...

А стройбатовская рота всего-то 50 или 60 человек... Вот и выходит — 2,5 человека на вагон... Обмотаешься всякими тряпками — и нырк туда... Пиздец... На всю жизнь запомнил... Я после этих разгрузок месяц харкал цементом, курить не мог — гаврился...

А когда на улице минус 30 и щебень размером с детскую голову из вагонных шнеков ни хуя не валится, потому что его засыпали сырым и он смерзся намертво? Вибраторы, говорят, подключите... Да какие на хуй вибраторы! Вы сами-то верите в то, что говорите? Кто их видел-то, вибраторы эти... Вагоны-то эти трясучие еще при Николае Кровавом пустили... Карандашиком его, карандашиком... Сутками разгружали... Так его, щебень, потом положено от путей откинуть метра на полтора, чтоб «габариты были свободны».... Из-под вагонов выгрести и вагоны — ха! — вручную, откатить...

А работа эта, кстати, по СНиПам и ЕНиРам, — копеечная... Куб 20 копеек что ль было... Самая долбоебская работа, найдешевейшая... Дешевле — только уборка мусора... Ну, этого добра тоже перекидано было столько, что и вспоминать неохота...

А сколько труда зазря было положено... Мы же сами раствор и бетон, который из того самого цемента и щебня делался (кстати, нами же) — тоннами, блядь, закапывали... Потому что не нужен оказывался... А то, что строили аврально днями и ночами и о чем наши славные командиры оралы — вот, мол, стройка века, на контроле лично у Лушева (был такой командующий Московским ВО), ляжем костями, но Родине построим-сдадим... через полгода также аврально ломали.

Я в позапрошлом году по своим славным боевым местам проехал.. Как в тарковском «Сталкере»....Один в один...Части, боксы, станции, заводы... Все заброшено...

Чего уж тут про К-159 говорить... Удивительно, как она еще у причала-то не затонула, за 20-то лет стояния... Да ее вместе с людьми пять раз списали... Мужиков только жаль... Утянула-таки людей на дно, гадюка... Взяла свою дань... Напоследок... Лет через пять поднимут... А может и так замылят...

«Саша, ничего не понимаю. Это опять Люся. У них же сорок минут было, чтоб из лодки выскочить. Неужели так трудно? Что это? Почему?»

«К-159» тонула сорок минут. Из десяти в живых остался только один.

Эта лодка в длину чуть больше ста метров.

Они могли бы выскочить из нее за тридцать секунд.

Но они не бежали. Почему?

Для подводника нет ничего хуже отстоя. Там специалист превращается в сторожа.

А если это база в Гремихе, где полно отстоя? Брошены лодка, брошены люди. Но у этих людей есть память, память прошлой жизни. Она оживает, как только лодка отрывается от пирса, как только корпус ее начинает скрипеть и что-то внутри ее вздыхает: ее ведут на понтонах.

Люди внутри нее в любой момент могут пойти ко дну вместе с ней, не ней нет средств спасения.

Эти парни с «К-159» почти не спали. Как можно спать, если лодка пошла?

Если лодка пошла, у тебя включается другое видение. Ощущение того, что ты все чувствуешь кожей. Обостряется слух, чутье, интуиция, обоняние, зрение — ты видишь в полутьме.

Происходят чудеса. Будто не было тех лет, что ты провел в отстое. И ты снова командир, ты хозяин отсека. Железо — твой друг. Оно не может без тебя.

Как бросить друга? Никак. Ты будешь орать в любое средство связи: «Аварийная тревога! Вода! В отсеки поступает вода!»

А тебе скажут, что надо бороться за живучесть. И ты будешь бороться. Голыми руками.

Ты снова молодой, ты ловкий, ты снова нужен, без тебя никак.

Ты бросаешься, герметизируешь за собой дверь, даешь воздух в отсек.

А тебя спрашивают, как обстановка.

А ты говоришь, что борешься — вернулась молодость.

Вот только из отсека ты уже не выйдешь. В нем повышенное давление и, чтоб сравнять его, нужно время. А его нет. Лодка тяжелеет, и вот уже верхний рубочный люк схватил воду.

Вода идет внутрь жадно, и все решается в доли секунды.

Переборки рассчитаны на десять атмосфер. На глубине двести тридцать метров их будет двадцать три. Вода сомнет переборки, и ты в полной темноте, вперемешку с чем попало, будешь всплывать под потолок, в воздушную подушку. Вода десять градусов. В горячке она кажется кипятком. Потом очнешься — и больно, тисками сжимает все тело...»

СИСТЕМА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы называли училище «системой»

Мы говорили: «Пошли в систему», «Куда ты?» — «В систему».

Наше училище располагалось на Зыхе.

Это зловещее название принадлежало поселку на том конце рога Бакинской бухты.

Баку обступает свою бухту со всех сторон, с холмов сбегая к морю.

Море летом очень теплое, и в черте города пахнет мазутом. Его сюда гонят ветры с Нефтяных Камней.

Поселок русский — тихо, улицы подметены, народу мало, местных совсем не видно.

Тут живут только училищные офицеры и училищные мичмана, прошлые и настоящие.

Снаружи забор, якоря, ворота — из них вываливают в увольнение курсанты. Летом они были во всем белом — форменка, брюки.

Их было много, они казались силой.

Как-то я пригласил однокашников к себе на день рождения. Почти весь класс. Мы шли по улице толпой в бушлатах. Осень, ноябрь, сырой ветер. К нам подбежал испуганный азербайджанец: «Ребята, вы бить кого-то идете? Не надо, ребята!» — почему-то он решил, что мы идем бить.

Может, это из-за бушлатов?

Хорошая одежда — бушлат.

Он сшит из грубой фланели и непродуваем для бакинских ветров.

Под бушлатом форма номер три: фланелевая рубаха с воротником с шерстяными брюками под ремень, тельняшка — это тепло.

Как только мы сдали последний вступительный экзамен, нам запретили выходить за ворота по увольнительным запискам.

Нас подстригли под «ноль» и выдали форму.

До этого все помещались в казарме, там стояли койки с синими одеялами — на них все время кто-то лежал.

На нашем языке это называлась «абитура» и напоминало шабаш бродяг.

Там были свои лидеры.

Там у меня немедленно украли спортивные штаны.

Я увидел их на одном парне.

— Это мои штаны, — сказал я.

Он осклабился, показав нездоровые зубы.

— Снимай, — сказал я.

Он медленно, но снял.

На пятом курсе за воровство его поволокут к окну. Он кричал, как животное. Его хотели выбросить. С пятого этажа.

Его поймали за копающуюся в тумбочке руку, молча подхватили впятером и потащили к открытому окну.

Никто не бросился на защиту. Он кричал среди глухих.

Вор у нас обречен.

Однажды у штурманов на практике, в море, поймали вора. Он украл то ли деньги, то ли что. Его били всем кубриком. Ночью. По-волчьи.

Потом его комиссовали, то есть признали искалеченным, негодным и уволили в запас.

Пойманных на воровстве в училище не оставляли. Их могли убить.

Избивавшим его ничего не было, потому что никто не сознался, да и он ни на кого не показал.

А того, нашего, спас тогда командир роты: он его за ногу поймал.

Через несколько лет после выпуска тот наш ворюга дезертирует из армии, вступит в банду. Говорили, что какое-то время спустя его и вовсе укокошили.

Тот, кто мне все это рассказывал, был одним из тех, кто тащил его тогда к окну.

Подвернись ему случай, он бы его и сейчас в окно потащил.

Курсантский приговор можно привести в исполнение в любое время.

Был бы повод.

Можно забыть, затем встретиться через много-много лет после выпуска, говорить, говорить, но вот случился он, повод, и ты хватаешь человека за руки и тащишь к открытому окну.

А все из-за строя. Наверное, из-за строя. Из-за того, что полжизни я провел в строю.

— Рав-няй-сь!.. Смир-на!.. На первый-второй рассчитай-сь!.. В две шеренги... Стройся!.. Отставить!.. Еще раз!..

И так до кругов в глазах.

А на плацу жарко. Лето. Роба под ремень.

На спине она покрывается солью.

Это твоя соль.

Она выступает из твоих пор и пропитывает рубаху насквозь.

— Рыть!

— Чем? Этим?!

Саперная лопатка чуть больше совка и выглядит несерьезно. Надо в бакинской земле, твердой как скала, при жаре плюс пятьдесят вырыть окоп в полный рост.

Мы тренировались недалеко от училища, на горе.

Это было хорошее училище. Огромное. Все засажено соснами, чисто, под ними ни иголки, ни бумажечки, все убиралось, воздух пропитан смолой, а какой там был плац — на другом конце человек ростом со спичку, и на плацу — памятник Сергею Мироновичу Кирову, метров пять, с вытянутой рукой. Это обязательно. Он же навсегда принимает парад, и училище носит его имя.

— Рыть!

Лопатка от земли отскакивает, как от железа, и о камни звенит. Надо рыть. Учение. Курс молодого бойца.

После выпуска на Кирова всегда надевали огромную тельняшку. Так прощались с училищем выпускники.

Ее шили в глубокой тайне, несмотря на обыски.

В ночь перед выпуском Кирова охраняли, выставляли специальный пост, и дежурный по училищу не смыкал глаз.

Но тельняшку на него все равно надевали, и утром строи шли мимо с ухмылкой понимания.

Рассказывали, что был такой дежурный по училищу, который поклялся, что на его дежурство Кирова не оденут. Он встал под статуей в полночь, как Дон Гуан, и решил простоять так всю ночь. Часа в четыре ему все надоело, вокруг ведь не души, да и писать ему страсть как захотелось.

Он отлучился буквально на десять минут.

Через десять минут Киров уже стоял в тельняшке.

А саперная лопатка, между прочим, отличное оружие.

Заточишь — голову с удара снесет.

Я очень хотел снести ему голову. Моему командиру отделения. Он пришел из армии. С лычками, старшина второй статьи. Он сразу почувал во мне сопротивление.

— Как вы побрились, Покровский?

Он смотрел в мой подбородок так, будто хотел там разглядеть чего-то.

— Вы же небриты на утреннем осмотре! Отделение!.. Равняйся!.. Смир-на!.. Курсант Покровский!

— Я! — следовало выкрикивать «я», когда называют твою фамилию.

— Выйти из строя!

— Есть! — надо выйти на два шага вперед, потом повернуться кругом и оказаться лицом перед строем.

Наказывают тут перед строем. Если старшине не понравится, как ты вышел, он даст команду «отставить». и ты выйдешь из строя еще и еще раз, до тех пор, пока ему не понравится.

Если ему покажется, что ты выкрикнул «Есть!» недостаточно рьяно, то можно получить еще один наряд на работу.

Эти наряды отрабатывались после отбоя. Штрафники строились в коридоре и потом приступали к приборке. Кто-то драил дучки в гальюне, кто-то палубу. Больше тридцати минут нас не задерживали, и все же я их ненавидел.

Этих ребят, пришедших из армии и поставленных над нами старшинами.

От ненависти раздуваются ноздри, и ты чувствуешь запах стоящего перед тобой человека.

Они были только на тот период «молодого бойца». Дальше должны были прийти старшины с третьего курса.

У них были поблажки при поступлении. Они могли сдать экзамены на все тройки. Многие из них приезжали из армии просто отдохнуть.

Эти не готовились ни секунды, получали на экзаменах свои двойки и уезжали назад в свои части. Отдых в течение целого месяца им был обеспечен.

Они ходили в увольнение и пили водку.

Был такой пограничник Федя. Тот гладил сапоги утюгом, и на них появлялись штрипки, как на брюках. Он был огромен и туп.

И еще был такой Богатырев — мелкий, вертлявый.

Как-то Федя нагладил на ночь, чтоб утром надеть, но Богатыреву ночью от пьянства стало

плохо и его стошнило прямо в наглаженные сапоги Феде.

Один из них он здорово наполнил.

Утром Федя сунулся в сапоги, попал в настоявшееся и немедленно понял, кто ему все это удружил, потому что промахнуться было невозможно — рядом спал счастливый после ночных мук, чумазый от рвоты Богатырев.

Дикий, потерявший от подобного речь Федя, убедительно выпучив глаза, тут же, с хяканьем, надел ему тот сапог прямо на спящую голову.

А на экзамене по химии Федя вдруг захотел поступить в училище. О существовании химии как предмета, он до сегодняшнего дня даже не подозревал, но он захотел-захотел.

В этом было что-то от искалеченной птицы, которая волнуется и машет своими культяпками, когда в небе появляются перелетные стаи.

Федя стоял у доски и с мольбой смотрел в зал. Он искал подсказку. Любую. Хоть три слова. Хоть два.

От Богатырева не укрылось его волнение. Он сидел за первым столом в прекраснейшем настроении, расположении духа, и когда Федя начал рыскать взглядом, в сей секунд потянулся к нему весь, вроде с подсказкой, а тот сейчас же качнулся всем телом в его сторону. Так они и тянулись. Этот к нему, а тот к этому.

Лицо Феде исказилось мукой, он не мог так далеко и так долго тянуться. Лицо его страдало, как если бы внутри его тела истово напрягалось все физическое и душевное.

Богатырев, ловко поймав самый пик федино-го напряжения, тоненько, и гнусно пропищал ему на всю аудиторию вместо подсказки: «Фе-ее-едя!»

После экзамена тот внес Богатырева в ротное помещение, держа его одной рукой, прошел в галюнь, бешено оглянулся, сказав: «Никому не входить!» — и захлопнул за собой дверь.

Из-за двери тут же послышались истошные крики.

Когда бросились туда, то взорам окружающих предстала следующая картина: Федя из шланга поливал голого Богатырева крутым кипятком.

Федя с Богатыревым уехали потом восвояси.

Но кое-кто из срочной службы остался и поступил. Теперь они над нами были начальниками.

— Встать! Сесть! — так они нас на самоподготовке дрессировали.

Особенно один — очень старался.

Я ему это не забыл.

Столько лет прошло...

Мне говорят: «Брось! Встретишься, и рассмеешься»

Может и так, только я не уверен.

Я видел кожу у него на горле. И кадык. И то, как у него слюна в уголках рта скапливается.

Белая, плотная.

Почему-то она была белая и плотная.

Я поймал себя на том, что вижу свою руку и как она с прыжка впивается ему в глотку, а потом рвет ее на себя и в сторону.

Вот только кадык такой подвижный, что трудно ухватить.

— Вы меня слышите, Покровский!

— А?.. да... конечно...

— Не «да, конечно», а «есть».

— Есть, конечно...

Мы тогда не приняли еще присягу, и они нас мордовали так просто. Для острастки. «Курс молодого бойца».

Когда к нам пришли командиры отделений с третьего курса, наших командиров сместили и они стали обычными курсантами.

Двое из них сейчас же перешли в другой класс, а потом и в другую роту.

Один остался.

Этот был ничего. Его звали Степочкин Володя. Он частенько обращался к нам «пацаны» и не очень-то выделялся.

Он был у нас старшиной класса, любил петь «Червону руту».

Он был старшиной нашего класса до того, как пришли тръекурсники.

На нашем выпуске Степочкин напился и ругался, потому что надо было какие-то дополнительные деньги сдать на оркестр в ресторане, а все уже стали лейтенантами и припрятали две лейтенантские полочки.

Все уже стали другими, а он хотел, чтоб по-прежнему, по-курсантски, до последнего рубля.

А на севере в отделе кадров за ним бежал кадровик и кричал: «Степочкин, вернитесь!»

Вовик вылетел от него с криком: «Не поеду в Гремиху! Во дают? На лодку, в Гремиху! Я ему: я не дозиметрист! Я — радиохимик! А он мне говорит: «Там на пароходе пиво», — как будто я пиво никогда не пил! До этой Гремихи еще двое суток на пароходе! Во дыра! Не поеду!»

Вова поехал в Гремиху.

Радиохимики — это наш класс. Среди химиков мы считались элитой, полагалось, что из нас вырастают будущие ученые — впереди только наука, женщины и белые халаты.

В училище было два факультета. Наш — второй. Первый — штурмана. У нас над учебным корпусом висел лозунг: «Штурман — в морях твои дороги!» — мы не возражали.

У штурманов старый отдельный корпус и в ротах двухярусные койки.

У химиков был новый корпус, и койки в ротах стояли в один ярус. Принято было считать, что мы живем роскошно.

Когда поступал в училище, то в заявлении, а его обязательно надо было предоставить, я написал: «Хочу быть офе-цером!»

— Сколько у вас по русскому? — спросили меня.

— Четыре, — ответил я.

— Похоже, — сказали мне.

Но я все сдал на «пять», а потом была мандатная комиссия. Все документы поступали на ее рассмотрение, там же заявление и всякое, характеристики из школы.

Комиссия все это изучала, потом приглашала кандидата, то есть меня и моих товарищей, потом беседовала и говорила: «Вы зачислены, поздравляю!»

После этого следовало сказать не просто «спасибо», а хорошо бы выкрикнуть какой-нибудь лозунг.

Так меня научил капитан второго ранга Дружеруков, муж судьбоносной тети Ноны, которая и соблазнила меня тем, что я меньше всего знал, военно-морским флотом.

Я выкрикнул лозунг, не без того.
Сейчас уже не помню какой.

Тогда же и решили, что я буду радиохимиком — халаты, берег, женщины.

Это так мы решили с тетей Ноной и ее мужем, но как только я оказался в роте и без своего белья — выяснилось, что меня записали не в тот список, и я теперь дозиметрист — лодки, лодки, изредка берег и мельком женщины.

Я с этим был не согласен. Я нашел мужа тети Ноны, и этот мудрый и очень спокойный человек внимательно выслушал мою сбивчивую речь, в которой сквозила обида на судьбу и на тетю Нону, я не хотел в море, я укачиваюсь, меня тошнит, и потом, как же на лодке я буду ученым, вот?

Заслуженный капитан второго ранга отправился куда-то и переписал меня из дозиметристов в радиохимики, при этом вызвали одного парнишку из деревни, случайно попавшего в тот самый радиохимический класс, и спросили его: ну не все ли ему равно, ну будет он дозиметристом и станет служить на подводных лодках, ну и что?

Парнишка смутился, пожал плечами и сказал, что ничего и что ему все равно.

Нас немедленно поменяли.

Парня звали Витя Тюнин.

Странно, но после выпуска он оказался на берегу, а я — на подводных лодках. Как ни меняй — один хрен.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Напротив нас через бухту находится Баилов, окраина Баку — там размещается Каспийская флотилия.

Недалеко от Баилова старый город, его называют Крепость, рядом с ней Девичья Башня, дворец Ширваншахов и прочие исторические красоты.

Я любил эти места. Все-таки родина.

Крепость, Башня, дворец, узкие петляющие улочки, деревья — тополя, платаны, вязы, бульвар с набережной, запах моря, ветер, порыв которого налетает неизвестно откуда и так же неожиданно пропадает.

Был еще Губернаторский сад — там когда-то стоял дом генерал-губернатора.

А в Крепости помещалась городская комендатура и гауптвахта. На втором курсе мы будем нести там караул.

Училищный забор решетчатый, высокий.

За забором с нашей стороны густая училищная трава, кусты граната.

Там охотились пятикурсники. Они, лежа в траве, из рогатки стреляли маслинами проходящим девушкам в жопу.

Девушки вскрикивали и терли поврежденное место, а пятикурсники, давясь от хохота, уползали как змеи.

В училище есть еще и кадровая рота. Там матросики служат срочную службу. Это рота обеспечения.

А пятикурсников мы всех знали в лицо.

Это были здоровенные дядьки.

Через пять лет мы должны были стать такими же.

Мы им завидовали и восхищались.

Некто, по кличке Кайман, мог выпить пятнадцать кружек пива на спор, а кто-то здорово крутил сальто на перекладине, кто-то греб, кто-то бегал.

Паня Рябов и Илюша Горбунов сложением напоминали античных героев. Оба были членами сборной училища по гребле на шлюпках. Эти дрались друг с другом, используя двухметровые весла как двуручные мечи.

А был еще Вишневский из Одессы. Того за длинный язык начальник нашего факультета капитан первого ранга Бойко все время сажал на гауптвахту. «Товарищ начфак, курсанту Вишневскому не хватило койки», — докладывали ему. «Вишневскому? — говорил он, — на гауптвахту его, на гауптвахту», — это после возвращения из летнего отпуска, во время обустройства в казарме.

Через некоторое время Вишневский приходил с гауптвахты, подбегал к начфаку, переходя

за пять-шесть шагов на строевой шаг, и докладывал: «Курсант Вишнеvский с гауптвахты прибыл. Поправился на три килограмма!»

Начфак при этом принимал строевую стойку, — это рефлекс, если к тебе подбегают с докладом и рубят при том строевым, надо принимать строевую стойку, подносить руку к фуражке и в таком состоянии принимать доклад, ничего не попишешь, ты же не знаешь о чем тебе сейчас доложат в столь торжественной обстановке.

Узнав о чем, начфак багровел. Он легко багровел.

У него был нервный тик. Так что он кричал, дергался лицом и всячески багровел, переживал за нас, за факультет, за территорию, за большую приборку, за дисциплину, за успеваемость.

Когда он выступал в клубе на собрании факультета, все видели, что человек старается, что для него это все не просто так.

Если шел мимо него строй и этот строй шел хорошо, он просто сиял. Он так радовался, если под его руководством все расцветало, что за это ему многое прощалось.

Хотя и прощать его было, по большому счету, наверное, не за что.

Вишнеvский, завидев начфака где попало, за версту всегда переходил на строевой шаг и отдавал ему честь. Начфак на это ничего не мог поделать и тоже отдавал — так они и жили.

А с женщинами на училищных танцах Вишневский познакомился следующим образом: если она сидела в кресле, то он всегда аккуратненько и лениво присаживался на подлокотник этого кресла, растекался по нему и говорил, растягивая слова: «Ну-у-у, рас-сс-казывай!»

Анекдоты о нем доходили в училище уже после его выпуска. Его назначили в авиацию. Только не в морскую, а в обычную. По прибытии в часть он доложил начальству: «Лейтенант Вишневский прибыл для дальнейшего прохождения службы. Где тут у вас меняют флотскую форму на танк?»

Первое наше знакомство с пятым курсом было грустное. Едва став военными школярами, мы вшестером уже рыли могилу для одного из них. Сразу после выпуска его убили в местной драке.

Драки случались, и курсантов на них убивали. Недалеко от училища помещалась Ленинская фабрика, где было полно благосклонных к курсантам женщин.

Пятикурсники там паслись, и местные их подстерегали.

Не так давно случилось еще одно убийство. На той же Ленинской фабрике, в Доме Культуры на танцах курсанта зарезали ножом.

Училище об этом узнало сразу. Кто-то прибежал из увольнения весь окровавленный и зао-

рал: «Нашего зарезали насмерть!!!» — потом его расспросили, потом по ротам побежали гонцы.

Все училище с первого до пятого курса прыгнуло через забор и побежало к злосчастной фабрике.

Бежало почти полторы тысячи человек.

Они избили всех. Они взяли тот Дом Культуры в тройное кольцо и измолотили кого ни попадя.

Потом они обошли в том районе дом за домом. Они вламывались в двери, выволакивали мужчин, брали их в круг и — бляхами, бляхами.

Бляха — неплохое оружие. Края можно заточить, с обратной стороны залить свинцом. Потом сорвал с себя ремень, намотал его вокруг руки одним движением и руби — только свист стоит.

Наматывать ее на руку может любой первокурсник, и она всегда при тебе.

Раньше в увольнения ходили с морскими палашами. Но курсанты очень быстро научились их обнажать перед мирным населением и палаши отменили.

Бляхи никто не мог отменить.

Кровь была всюду — пятна-лужи-ручейки. Избиение не могли остановить ни отряды офицеров, ни милиция — ее тоже побили, ни начальник училища.

Тогда им был адмирал Тимченко.

Мы его еще застали — высокий, красивый, спокойный человек.

Он кричал, командовал — его никто не слышал.

Потом он просто молча ходил среди дерущихся, пока на него не налетел какой-то обезумевший азербайджанец в форме милицейского полковника.

Хотел он ударить адмирала или не хотел — это уже не установить.

На всякий случай Тимченко уложил его с одного удара, он был неплохим боксером.

Потом он все же построил курсантов и увел их восвояси.

Зачинщиков отправили служить на флот матросами, а адмирала Тимченко вскоре сменил другой адмирал.

Мы его называли Бариним. Он был седой, сгорбленный, внимательный и вредный. Пройдешь мимо, обязательно остановит и сделает замечание.

Как-то он столкнулся в коридорах учебного корпуса с двумя курсантами, те от него сразу же пустились наутек, а он бросился за ними — все это молча, ни звука.

Добежали до туалета на втором этаже, курсанты шмыгнули в туалет, а Барин уже не спеша — куда они денутся — вошел и... никого не нашел.

Он в каждой дучке проверил — испарились.

Курсанты вылезли тогда через форточку и спустились по водосточной трубе.

И зачем он за ними бежал, от старости задыхаясь, никто не ведает.

Так что Барин был не чета Тимченко — тот благороден, но благородные со временем все куда-то деваются.

Ленинская фабрика еще долго помнила ту бойню. Года два курсанты ходили там в любое время суток. При их появлении люди исчезали с улиц.

Между собой дрались редко. Рассказывали, что когда-то штурмана дрались с химиками, но я застал только парочку потасовок.

В обеих участвовал я. В первой на танцах третьекурсники-химики подрались со штурманами, а я — уже на пятом курсе — стоял дежурным по клубу и бросился их разнимать.

На меня тогда напали сзади. Оттолкнули — я упал, и сказали, когда я поднялся с земли: «Не лезь». Пока я соображал, как бы получше нападающего трахнуть, все пропали. Потом пятикурсники штурмана нашли, напавшего на меня, подвели ко мне, и он извинился, но все это потом, а в драке ничего не видно: со всех сторон летят кулаки.

Второй раз у моих первокурсников пьяные пятикурсники отобрали деньги. Первокурсники

прибежали в роту, а я там был один из начальства. Я к тому времени пребывал уже на третьем курсе и сам командовал отделением.

— Товарищ старшина второй статьи! — прокричал мне с порога парень про прозвищу Москва. — Они у наших деньги отбирают и бьют!

Что я мог сделать? Это были пятикурсники, и мой третий курс им не указ.

Но передо мной стояли подчиненные. Они смотрели на меня с надеждой. Этот взгляд нельзя было обмануть.

— Где?

— Там!

— Бежим туда!

Грабеж шел у клуба. Толпа из пьяных пятикурсников потрошила остолбеневших первокурсников, выворачивала им карманы.

Эти орлы явились к нам из Фрунзе. Списанные пятикурсники, присланные в Баку доучиваться из военно-морского училища имени маршала Фрунзе.

У них были белые рубашки, а наши все одевались в синие. Этим еще не успели даже переодеть.

Зато они успели нажраться и пограбить наших первогодок.

Может, все претензии следовало адресовать маршалу Фрунзе?

Толпа грабителей была большая. Я в нее прыгнул со всего разгона и ухватился сразу за двоих.

— Пошли к дежурному по училищу! — заорал я, потому что надо же было что-то заорать. Мои

подчиненные меня мгновенно поняли и испарились. Пока меня будут убивать, они успеют добежать до дежурного.

— А ты? Ну-ка... — и тут удар ногой сзади по спине.

Бил высокий парень.

— Стой! — крикнул ему кто-то из своих, помнее. Он видел, что побежали за подмогой, и понял, что сейчас надо будет смываться.

Они дали кому-то из наших первогодок в морду и побежали, потому что к нам уже мчался дежурный по училищу.

Потом меня таскали на разбор полетов к замначальнику училища. Там я не стал покрывать этих уродов, рассказал все, как было.

Мне сделали очную ставку, и я прямо сказал на ней, что считаю их полным дерьмом.

Они еще пробовали как-то отмстить и, заступая помощниками дежурного по училищу, писали нам на роту замечания, но меня никто не подкараулил и не отлупил.

А того, кто меня по спине ногой перетянул, я потом на флоте встретил. Я — лейтенант, он — капитан-лейтенант и уже помощник командира.

Первой мыслью было сказать ему, что за ним должок и пора бы рассчитаться, но потом я узнал, что он болен, у него отказывают почки.

Да нет, к пятикурсникам мы хорошо относились. Только однажды, когда я был на первом

курсе и пошел на фильм в клуб, толпа пятикурсников выкинула меня с занятого места. Просто подошли, подняли за шиворот и выбросили — не положено первокурснику сидеть и занимать место в кинозале.

Они смеялись, шутили между собой, а я стоял рядом и кусал от обиды губы.

— Ну, что не ясно? — сказали тогда мне.

— Все ясно, — сказал я и вышел из зала. Мне тогда хотелось думать, что это не химики, что это штурмана.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через много лет на севере трое офицеров замерзнут насмерть на пути из одной базы в другую. Они шли пешком. Там немного, километров двенадцать, но налетела пурга, снег стоял перед глазами, и они потерялись. Потом окажется, что они плутали в двадцати метрах от дороги.

В Баку снег редкость. Утром выпадет, днем растает. Так что ломачами мы плац не долбали. Приборку делали вениками и лопатами. Сразу после физзарядки бегом на приборку.

Утро на любом курсе в училище начинается с подъема.

Дежурный командует: «Рота, подъем!» — и по тому, как люди вскакивают с коек, можно сказать на каком они курсе.

На первом просто взлетают, на втором и третьем позволено сесть, а потом встать после окрика: «Подъем! Кому не понятно?» — на четвертом можно потянуться, а затем уже приступать к принятию вертикального положения, и на пятом — потянуться и повалиться пару секунд.

После подъема надо откинуть одеяла с простыней — постель должна проветриться, иначе в ней заведутся мелкие паразиты — так нам объяснили перед строем, — далее надо побежать пописать, после чего слететь вниз и построиться на физзарядку.

Физзарядка холодит.

Физзарядка в любое время года — по пояс голыми в одних трусах, штанах или в робе, но всю дорогу бегом.

Бегали всем строем. Бегали часто. Все время сдавали какие-то нормы и бегали, бегали. Хоть бы кто когда-нибудь тренировался — какие там тренировки, встали-побежали.

А в субботу со своим телом не упражнялись. Было вытряхивание одеял. Все роты после подъема сходили вниз, на задний двор за казарму, и там разбивались на пары. Вдвоем легче вытряхивать из одеял тучи пыли.

В четыре часа утра — бегали по тревоге. Хватали автомат, подсумок, пять пустых магазинов, вещмешок, противогаз и скачками на плац. Там построение, проверка наличия личного состава, доклад: командиры отделения командиру взвода, тот — старшине роты, а он — командиру роты: все налицо.

И рысью. В точку рассредоточения. Это километров за пять.

А можно было и на марш-бросок нарваться — за двадцать пять. Пешком-бегом, «Газы!» — противогазы на морду, а пот сейчас же заливает личность под маской по самые ноздри, отодрал ее от подбородка снизу, слил пот, бежишь дальше.

Хорошо, что в четыре утра. В четыре утра еще прохладно.

Одна тревога в месяц.

Однажды после построения на берегу в пред-
рассветные часы выяснилось, что...

— Израиль напал на Ливан! — в строю немедленно начался повальный географический дебилизм: «А где Ливан? А? Далеко? А?» — перекрывая идиотию:

— Мы сейчас же садимся на десантные корабли... («А... какие это корабли? Как же они?..») и следуем в Ливан... («Это как? У нас же Каспийское море? Оно вроде... озеро? Оно же не имеет выхода?»)»

Потом решили, что вверх по Волге, Астрахань, через Волго-Дон, вот, потом Черное море, Босфор, потом это... Эгейское, кажется, море, а потом уже Средиземное...

Через десять минут пришла команда «Отставить!»:

— От-сс-та-аа-вить! — и все пошли назад в роту. Шесть тридцать утра. Отбой на пятнадцать минут (обязательно заправить на баночке-скамеечке форму). Подъем в семь и на физзарядку.

А какому-то училищу однажды не повезло: летом битком набитое курсантами учебное судно проходило практику в Средиземном море. И надо же — корабли Шестого Американского флота подошли к Ливану (опять этот Ливан) и выпустили по его городам артиллерийские снаряды — там американских граждан взяли в заложники.

Наше верховное командование, чтоб как-то ответить на безобразие, решило высадить в Ливане... ни за что не догадаетесь что... десант, состоящий из курсантов с того самого учебного корабля, может быть даже с автоматами, для чего в район срочно перебросились автоматы имени Калашникова — несметное количество — и патроны — тут все как обкакались (это я не про американцев).

Так вот (возвращаясь к бегу), надо вам заметить, что были и праздничные забеги, когда бежали ротами в честь какой-либо даты — день рождения Ленина нашего родного Владимира Ильича или же Дня Конституции, тоже родной, 5 декабря.

В эти дни шли в составе рот всем училищем к линии старта — а она за пять километров — и по команде: «На старт! Марш!» — бежали, соблюдая интервал.

Перед училищными воротами бегущие роты подбадривал училищный духовой оркестр — все было ай, как славно — вот только без тренировки воздух на финише вырывался из груди шумно и с болью, потому-то я и решил тренироваться, чтоб в последствии совершенно не сдохнуть.

Как-то бежали три километра по училищу кругами (это я еще не начал тренироваться). Стояла редкостная жара, плавился асфальт. На одном из кругов меня повело в сторону, в глазах

потемнело, и рухнул я в кусты под сосной блевать — солнечный удар.

В санчасти я пролежал сутки и отоспался — как рукой все сняло.

С тех пор мне понравилось лежать в санчасти. Я потом много лежал там с ухом — у меня был отит, из ушей шел гной, он теперь часто шел.

Я там познакомился с неунывающим черненьким курсантом с острова Куба, с увлечением жрущим нашу тушеную кислую капусту. Он меня научил испанским словам: «Буэнос диас, гардес, ночес!» — что означало: «Доброе утро, день и ночь!»

Но в первый раз я попал в ту санчасть перед самым поступлением в училище не с отитом.

Оказалось, что у меня дальтонизм, я не различаю цвета.

Тогда капитан второго ранга Дружеруков познакомил меня с медсестрой из этой самой санитарной части. Она вынесла книгу с треугольниками и квадратами в зелено-красный горошек, и я тут же выучил наизусть где чего нарисовано для вступительной медицинской комиссии.

Через несколько лет я забыл где там что стояло и какой там был горошек, и стал путать.

— Так! — сказал мне врач. — Поздравляю! Как же ты в училище попал?

— Книгу выучил, — сказал ему я.

— Понятно, — сказал мне он.

А уж как мне было понятно.

В училище работали славные медсестры.

И врачихи там были ничего.

Одна из них мне сверлила зуб под пломбу.

Тогда отечественная медицина не знала ничего такого, издали напоминающего обезболивание при пломбировании, и я стонал прямо на кресле. Я сначала даже не понял, кто это стонет.

А потом понял — я.

А еще медсестеры носили коротенькие халатики, и из-под них выглядывали голые, белые на солнце ноги — это было волнительно.

Это было волнительно настолько, что хотелось рядом постоять, и мы стояли.

Женщины в училище вообще случались. Они работали на кафедрах, в бухгалтерии, в санчасти, в парикмахерской, в киоске, в буфете, опять в санчасти и, наконец, на камбузе, и со всеми мы норовили постоять.

Некоторых брали замуж.

Некоторых не брали.

За что они некоторым резали яйца по утрам их же кортиками.

Все это случалось при выпуске очередного пятого курса, о чем мы узнавали немедленно.

Появление новенькой официантки вносило невразумительность в ряды.

Ряды сворачивали себе головы, если она шла навстречу по тротуару.

Для приведения в чувство существовали командиры.

Первым командиром у нас был подполковник Аникин.

— Каждый курсант имеет фамилию! Каждая тумбочка имеет бирку, на которой написана фамилия каждого курсанта! — так он объявлял нам перед строем роты.

Подобными сентенциями наш первый командир был наполнен по самую фуражку. Услышанное от него расслабляло, тупило бдительность и вселяло надежду на то, что и все прочие командиры у нас будут примерно такими же, и нам и в дальнейшем удастся избежать атаки постороннего разума.

Грубейшая ошибка, я вам доложу.

Следующим у нас был Сан Саныч Раенко, наш Санчо.

Насчет разума у капитан-лейтенанта Раенко можно было спорить с кем угодно, но только не с самим Раенко.

За ним сразу же и прочно закрепилась кличка «Тихий ужас».

У человека только две голосовые связки, и капитан-лейтенант Раенко ими творил настоящие чудеса. Он мог перекричать ураган, а сила эмоций, которые он вкладывал в разговоры и

команды, способна была сдвигать с места даже каловые камни. Причем неожиданно.

Представьте себе лицо, безжалостно изрытое оспой, подергивающиеся щеки, вздрагивающие губы, глаза со зрачками серого, а иногда и желтого цвета, которые, в процессе общения, казалось, выкатываются из орбит за счет высоко вздергиваемых бровей, что лезут вверх чуть ли не до корней волос, легко собирая лоб в гармошку; и то, что во время разноса меняется тембр голоса от обычного до непомерно высокого, при невиданном росте его мощи; когда это уже не голос, а рык; и глаза эти смотрят не тебе в глаза, а постепенно взбираясь по твоему лицу все выше и выше в какую-то точку у тебя на лбу — отчего-то хочется за ними следовать, для чего даже приподнимаешься на цыпочки. Представили? Ежа родить можно.

Некоторые рожали ежа. Рафик Фарзалиев при докладе о том, что за «время вашего отсутствия никакого присутствия» так трясся, что вызывал в нашем доблестном командире что-то вроде сострадания, которое выжалось в скривленном, брезгливом выражении лица, глаз, рук и ног.

А некто, назовем его курсант Кудрявый, не то чтобы просто обкакивался, а прямо-таки обсирался, этого не замечая. Командир его, стало быть, трахает с помощью речи, и тут он, командир, вдруг начинает принюхиваться, как доберман пинчер.

— Вы что? **ОБОСРАЛИСЬ?!!**

— Так точно!

И Кудрявый вылетает из командирского кабинета и бегом, зажав обе штанины, чтоб на палубу не выпало, своеобразными скачками до галюна и там, сорвав с себя штаны, совершенно не обращая на окружающих никакого внимания, сперва моет их остервенело, а потом и себя, и кафедра под собой — это, я вам доложу, эпоха!

А нашего дурака Дунчука он в первый же день арестовал на пять суток — строй заледенел от того крика.

У Сан Саныча это называлось «вырабатывание командного голоса».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В училище несколько раз приезжал Алиев Гейдар Алиевич. Первый секретарь компартии Азербайджана.

Очень он любил моряков. Ходил по территории в окружении свиты и улыбался.

Потом он обязательно выступал перед курсантами в клубе.

Потом он нарезал училищу дополнительную территорию. У нас было самое большое училище.

Весна в Баку начинается с запаха. Тополя приоткрывают почки, и это их запах. А еще ветер приносит свежесть полевых цветов.

С приходом весны торговцы зеленью на Бакинских базарах кричат громче.

Через много лет я буду при всплытии подводной лодки жадно нюхать воздух. Я буду топиться, глотать слюну и нюхать, нюхать.

Воздух — это сладко, сладко, сладко.

Легкие при этом работают, как хорошие меха.

На первом курсе нашу роту поделили. У дозиметристов завелся собственный командир Оджагов по кличке Джага. Он говорил: «В каждом тумбочке гадюк квакает».

У дозиметристов было только два взвода или класса.

У нас их осталось три: один радиохимический — где были мы, и два класса общих хими-

ков, которые, по нашему мнению, не отличались кругозором и хорошим средним школьным образованием.

Мы их называли «всё в общем, ничего конкретно».

У нас командиром остался все тот же капитан-лейтенант Раенко Александр Александрович — «пятнадцатилетний капитан».

«Я — пятнадцать лет «товарищ капитан-лейтенант!!!» — любил он криком повторять.

И еще он говорил перед строем: «Если человека кусает энцефалитный клещ, то он или умирает, или становится идиотом! Так вот меня кусал энцефалитный клещ!!!» — вот такой разговор, если только это разговором можно назвать.

Частенько он восклицал: «Саша! С кем ты служишь?» — и это относилось к нам.

И еще он говорил: «У меня кожа на роже стала, как на жопе у крокодила!!!»

Вам смешно? Мне — нет. Никому из нас не было смешно.

Это его выражение, а так же мои личные столкновения с «Тихим ужасом», нашли свое отражение в рассказе «Мазандаранский тигр» — я был тогда маленький, совсем молодой и сильно принимал все близко к мочевому пузырю.

Не скажу, что он — это я о командире — все время нас держал в страхе, просто потом мы к нему привыкли, приноровились, притерлись.

Немало этому способствовало бесконечное стояние в строю.

Чем еще в строю заниматься, как не наблюдать за поведением начальства — ты наблюдаешь, отмечаешь каждый поворот головы, каждое слово, жест, выражение, анализируешь, стараешься предугадать направление главного удара, чтоб избежать и уклониться.

Благодаря этому ты просто не попадаешь потом под горячую руку. Ты ее огибаешь, знаешь все па, уходишь в тень, растворяешься, принимаешь форму баночки, табурета, застываешь, как выпь по росе, и беда проходит мимо. Она тебя просто от травы не отличает.

Но чужим с Раенко было плохо. Их он отличал от травы. «Как вы с ним служите?» — спрашивали нас курсанты из других рот, а мы делали себе выпуклую грудь и говорили: «С тигром можно жить. Удовольствия, правда, мало, зато страху до хуя!»

Удивительно, но Сан Саныч Раенко, будучи человеком в высшей степени красноречивым (хорошо сказал), совершенно не ругался матом.

В училище, кажется, никто не ругался матом — я имею в виду командование и преподавательский состав.

Правда, великолепно ругался Вася Смертин, но он был начфаком у штурманов, а значит не в счет.

Даже старшины на младшем курсе не употребляли, вперемишкку с командами, ничего тако-го — все было по уставу и на «вы».

Между собой мы, конечно, отводили душу, но тоже как-то не очень.

Это потом, на флоте, я вдруг услышал, как капитаны первого ранга ругаются на пирсе этим народным языком.

А после я услышал, как адмиралы ругаются — и это уже как-то успокоило, вернуло к корням, если так можно выразиться.

А то, что в училище женщины на камбузе использовали мат как средство общения, так это для меня не было неожиданностью, я слышал, как разговаривают грузчицы.

Остальные, видимо, никогда с народом так близко, как я, не общались, и на первом курсе, в хозподразделении, когда надо было одним взводом ночью чистить три тонны картошки, вздрагивали, услышав голос Вали, старшины варачного цеха, распевающей на раздаче: «Девчушки!.. Бляду-ушки!.. Все ко мне!.. Живенько! Поскакали-поскакали!»

А если кто на камбузе на официанток слишком засматривался, то вполне мог услышать: «Ой, курсантик, не смотри ты так! В меня, сердешную, вкачали спермы больше, чем ты за всю жизнь киселя выпил!» — от этого можно было на какое-то время остолбенеть, поблехать кисе-

лем, чем многие и занимались — столбенели и блевали, особенно если подсматривали в дырочку на двери в женской душевой.

Алюминиевые миски-ложки-вилки, эмалированные кружки. Тарелки, стаканы, графины — только на пятом курсе. Тогда же ложки и вилки из «нержи» — нержавеющей стали.

А в хозподразделении мы должны были глазки в картофеле вырезать, потому что кожуру снимала специальная машина. В первый раз все потрогали пальчиком ее шершавые внутренности.

Включи ее вместе с пальчиком внутри, и от него останется только «дзинь!»

Глазки можно было вырезать хоть до четырех утра. И можно было гонца послать через забор за пивом на пивзавод.

Рядом с училищем имелся пивзавод и там, в специальном месте у забора, торговали ворованным пивом. Пиво тащили в училище глухими ночами и выпивали его ведрами, потому что в ведре его носить было очень удобно.

Чаще всего это происходило именно во время чистки картошки на камбузе или во время экзаменационной сессии — все равно какой, зимней или летней.

Пиво одинаково хорошо пилось в любое время года.

Так, во всяком случае, выглядела легенда.

За пять училищных лет я ни разу не видел, чтоб его пили ведрами. Разве что, может быть, кружками. Вообще-то курсанты, на моей памяти, пиву предпочитали вино «Кимширин» — вот им, действительно, напивались, но не все — кто-то пил умеренно, кто-то вообще не пил.

Например, я не пил. Я считал, что если все курят, то я курить не буду, а если пьют, то я точно буду трезвенником. Потом это у меня прошло — я все еще насчет вина, — но сначала было лихо: «Будешь пить?» — «Не буду». — «Почему?» — «Потому что».

Мне за подобное потом здорово на флоте попадало: «Химик, ты чего не пьешь?» — «Потому что не пью». — «Может, ты нас закладываешь?» — «Может и закладываю. Сказать в какие адреса?» — вот таким я был. Годам к пятидесяти только прошло.

А еще у нас Колесников Юра не пил. Мы с ним сразу подружились. Юру считали убогим и над ним все подтрунивали. Я не подтрунивал.

Юра ходил в строю странной подпрыгивающей походкой, то есть, прежде чем сделать шаг вперед, он подпрыгивал вверх.

И повернуть он мог не в ту сторону и какое-то время идти в нее, когда весь строй идет в другое место.

Сначала Вова Степочкин, как первый старшина нашего класса, пробовал его даже наказы-

вать, а потом выяснили, что Юра так делает не со зла, и его оставили в покое.

Юра слушал пластинки с классической музыкой и читал «Былое и думы», где автор пил доброе старое вино, изменял жене с горничной, после чего у него рождались дебилные дети, а его жена изменяла ему с другом Гервигом.

Никто у нас больше не слушал классическую музыку и не читал «Былое и думы», потому что все и так были классическими мудаками, как долгое время считал Юра. Он даже об этом в дневнике написал, потому что он, естественно, вел еще и дневник, где все описывал, все события и всех нас, и где он давал себе задания как ему себя с нами вести, на кого и как воздействовать и какие средства при этом применять. Дневник этот всенепременнейше нашли и прочли, и Юре это любви не добавило.

Теперь его еще и сторонились, и даже хотели побить, но потом отложили.

После истории с дневником я от Юры тоже отошел, потому что неприятно же, отошел и подружился с Сашей Литвиновым.

Тот был спортсмен и от земли отжимался двести раз — я тоже так хотел.

А еще Саша на перекладине подтягивался очень даже легко — я немедленно стал подтягиваться на перекладине.

В те времена симпатии между нами совершенно неожиданно могли смениться антипати

ями, для которых поводом служило все что угодно, ерунда какая-нибудь, но потом, через много лет, ты встречал того человека, с которым разошелся вроде бы навсегда, и оказывалось, что вы так истосковались друг по другу, что вы просто с порога бросаетесь друг другу в объятия и говорите, говорите, перебивая.

Так, через десять лет поле выпуска, я встретился с Юрой Колесниковым.

Он был уже отцом троих детей.

Он попал на Дальний Восток замполитом в стройбат — вот как иногда бывает — а потом оказался в училище начальником курса на иностранном факультете. Он теперь много занимался спортом, и мы с ним бегали на берег моря, что от училища через забор километра за два.

Там, во времена нашей юности, люди из городка загорали, купались, и переодетые в спортивное курсанты знакомились с дочками офицеров и преподавателей, которые загорали тут же и делали вид, что они не видят, что те курсанты просто прыгнули через забор и прибежали к морю.

А теперь эти места пустуют. Мы с Юриком одни, дно илистое, вода теплая.

Тот самый нескладный когда-то Юрик участвовал потом в сумгаитских событиях и голыми руками усмирлял убийц. Он мне все расска-

зывал и рассказывал, а я сидел и слушал и у меня мороз гулял по коже. Я все хотел ему тогда что-то сказать, но слова не шли.

А Саша Литвинов попал сначала на лодки, но там он начал пить, и его списали по каким-то галлюцинациям на берег в службу радиационной безопасности, где он тоже не прижился. Он женился, родил сына.

Я как-то встретил его в нашем северном городке по дороге на службу. Он затащил меня к себе и сразу суетливо стал предлагать выпить, а потом обнял меня и вдруг заплакал.

— Меня тут никто не любит, Саня, никто! Все только следят, — говорил он мне, а я растерянно прижимал его голову к своей груди и твердил: «Тише, Саня, тише, чего ты!»

Саню потом уволили в запас по обнаруженным, в конце концов, психозфреническим явлениям, и он отправился к себе на родину в Среднюю Азию, где сейчас же бросил пить и стал тренером восточных единоборств.

На одной из встреч выпускников нашего курса он даже поднял тост за дружбу, а потом, через год, его убили, сбросили с моста.

Я же его встречал только там, на севере, когда он еще только начинал страдать манией преследования. Больше я его не видел и на той встрече, где он говорил про дружбу, не был.

Саня... Саня однажды здорово пробежал марш-бросок по полной выкладке, с оружием.

Ему отдали автоматы те, кто через три километра уже еле переставляли ноги, задыхаясь, он навесил их на себя, штук десять, и так добежал до финиша, а на флоте вот у него не получилось.

Странно, сильные так быстро ломались...

Через много лет Юра прислал мне листы того дневника.

«... мы с Сашей Туниевым подружились на втором курсе. Скорешевались, как говорит Коля Тонких. А до этого были врагами. У Шурика бешеный темперамент. Он любит пороть, повыступать, повыперндриваться, к кому-то ни с того, ни сего привязаться. Только что ссорились со Степочкиным, и вот уже поют в два голоса: «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела, ты ж мене молодого с ума, с разума свела!» — вот такой человек. Вдобавок ко всему, он стянул с меня во время большой приборки трусы. Выходки какие-то... как в детском садике. Но в потоке раз за разом мы оказываемся за одной партой и наряды по камбузу тоже часто стоим вместе, и отношения налаживаются. Начинаю подмечать, что человек холерического темперамента не застрахован от депрессии и самой черной меланхолии. В такие минуты он поразительно беззащитен, нуждается в опоре, поддержке извне. Сегодня он весел. Мы стоим рабочими по камбузу. Толь-

ко что убрали посуду после завтрака, столы пустые, чистые. Официантка Марина, женщина лет тридцати, плотная, гладкая, стоя на подоконнике, протирает стекло. Юбка у нее задралась, и Саня высказывается по этому поводу: «Мариночка, какие у тебя красивые ножки, и все остальное тоже... Ты меня смущаешь», — я в этот момент отхлебнул киселя. Марина поворачивается от окна и внимательно смотрит на мелкого Шурика...»

То, что Марина потом сказала Шурику, я поместил в начало этой главы.

Юрик после этих слов блевал киселем.

Вот вам еще строчки из его дневника:

«Я вечно стрижен «под жопу». Второй курс. Наши стоят в гарнизонном карауле, а я и Саша Туниев возим им жорево. С тем мы и прибыли на камбуз в это воскресное утро. Холодно, сыро, пасмурно. Только что прошел дождь. Кузов грузовика щедро залит борщом и усыпан перловкой. Термосы с кашей и чаем засунуты под сиденье, мешок с хлебом там же, сахар и масло в бачках, на коленях. В последний момент в кузов заскакивает матрос из кадровой роты. Ему тоже по каким-то делам надо в Крепость. Поехали. Некоторое время едем молча. Матрос спрашивает закурить. Шурик угощает. Слово за слово — затеялся разговор. Матрос выглядит уже вполне оформившимся мужчиной. Он познакомился с теткой лет на пятнадцать старше себя. Но до чего злоедучая попа-

лась, с ней и полчаса не поспишь. Всю ночь мусолит. В конце, кто кого ебет, уже не понятно. Пришлось ей сказать, чтоб готовила стакан сметаны и два крутых яйца, иначе никак. И она готовит. А еще в Крепости есть одна. Ей уже за шестьдесят, но все еще любит «солдатиков» и «матросиков». Говорит, что они для нее, «как святые». Хотите, познакомлю? Ей чем больше, тем лучше... Грузовик въезжает в ворота Крепости, останавливается. Из приоткрывшийся двери гарнизонной гауптвахты появляются раенковцы: жизнерадостный Игошин, основательный Каменчук. Спускаем им термосы, мешок с хлебом, бачки с сахаром и маслом. А вот и Саша Покровский выглянул. Вид у него замученный. Взял термос и ушел. Матроса с машины сдуло, исчез он куда-то. Из дверей гауптвахты показывается «царь зверей» — начальник гарнизонного караула Сан Саныч Раенко. Не удостоив нас с Шуриком взглядом, высокомерно цедит водителю сквозь зубы, чтоб с обедом не опаздывали. Ушел. Лезем обратно в кабину и по пути назад слушаем еще одну историю. Худенький матрос со злым лицом энергично крутит баранку и делится с Шуриком переполняющим его возмущением: «Ну, блядина, ну, лярва! Ты представляешь, нас к ней человек восемь через забор перелезло. Пацаны, кто хотел, по два, по три раза через нее прошли, некоторые на карачках от нее отползали, а ей хоть бы хуй! Лежит и песенки поет: «Ля-ля-ля!» — а еще достала пилочку и ногти себе чистит. Зло взяло на это смотреть!

Взял кирпич и как уебал по чем попало! Завизжала, как свинья! В чем была, ломанулась через кусты! Только треск пошел!» — Шурик слушал с одобрением, я — с плохо скрываемым ужасом...»

Мда... даже не знаю, что сказать...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Саша Туниев — редкостный двоечник и человек дикого армянского темперамента, поступал в училище несколько раз. В очередной раз он просто устроился в училище на работу электриком и, вооружившись лестницей, вкручивал лампочки на иностранном факультете.

Их все время колотили пятикурсники. Они подкарауливали возвращающихся из увольнения арабов и канифолили им морды сразу же после разбахивания лампочек в кромешной темноте.

На иностранном факультете учились не только арабы, но и вьетнамцы, кубинцы, поляки, немцы, конголезцы, сомалийцы, йеменцы, но попадало только первым.

Арабы — это жители Египта, седого от времени.

Очень состоятельные жители.

Они сначала заканчивали в Америке курсы зеленых беретов, а потом приезжали к нам доучиваться, причем золота у них с собой было прихвачено столько, что они легко скупали всех окружающих женщин, после чего наши пятикурсники полировали им рожи, так как считали тех женщин нашим самым главным национальным достоянием.

После рож обычно происходили смотрины. То есть побитые арабы потом ходили вдоль строя и

смотрели в нахальные физиономии наших отечественных курсантов, пытаясь угадать своих вчерашних обидчиков.

К чести арабов, они ни разу не показали на невинных.

Когда наша рота перешла на пятый курс и приняла от предыдущих поколений эстафету бития сынов древнего Египта, случилось следующее: Сеня и Ерегин возвращались под утро из увольнения через забор.

Через забор во времена моего затянувшегося отрочества возвращались только те, кто своим похмельным видом попирал устои общественной нравственности (неплохо сказал); то есть Сеня и Ерегин были не совсем трезвы.

Рядом с забором стояла стайка народа с Ближнего Востока, и среди них угадывалась женщина.

Вдруг она закричала «помогите». Сеня и Ерегин сразу же бросились помогать.

Сене дали ногой по морде, а при росте нашего Сенечки сто девяносто сантиметров и весе сто двадцать, это было еще то зрелище.

Потом эти герои в кабинете начальника училища какое-то время ожидали своей участи. Обоих паршивцев по настоянию все тех же арабов собирались из училища выгонять.

Положение спас начальник училища, в то время — контр-адмирал Глебов.

Он вошел в кабинет, Сеня с Ерегиным встали по стойке «смирно».

— Ну? — сказал Глебов. — Рассказывайте, — и налил им по рюмке коньяка.

Через десять минут общими усилиями нашли единственно правильное решение: арабам объявили, что с их стороны в нашу сторону наблюдалась подлая провокация.

Так что Сеня с Ерегиным стали офицерами только благодаря Глебову Евгению Павловичу.

В Каспийское училище к тому времени попадали или очень умные адмиралы, или адмиралы, красящие училищные заборы мазутом для того, чтоб внезапно устраивать в ротях проверки с показом рук — у кого они в мазуте, тот и находился некоторое время в самовольной отлучке.

И те, и другие ни на какое другое дело в нашем родном военном флоте в те годы уже не были пригодны.

Евгений Павлович Глебов пришел к нам тогда, когда мы перешли на четвертый курс. С его приходом из училища исчез замначальника училища контр-адмирал Дронов, автор идеи с забором и мазутом.

Его отправили служить в Севастопольское училище, где он немедленно испачкал всю ограду, за что курсанты этого училища прислали на адрес нашего телеграмму: «Спасибо за подарок!» — на что наши, вроде, послали им: «Носите на здоровье!»

С приходом Глебова исчезла слежка и сыск. Он имел славу гения и фрондера.

Поговаривали, что он настоящий ученый, не то что некоторые; что он чуть ли не академик и одно время даже занимался космосом, но вот незадача, он где-то что-то сказал не то, и в тот же миг оказался в нашем училище начальником, а не сказал бы — видели бы мы его в нашей Тмутаракани.

А еще говорили, что он большой бабник, но с нашей точки зрения это его качество сразу же попадало в разряд самых главных достоинств, а еще говорили, что честнее его людей не бывает, но это мы и сами видели.

В общем, контр-адмирал Глебов получил то, что называется любовью подчиненных — эту самую высокую из наград.

Вот только нужна ли она ему была? Мы его не слышали и не видели, а уж через забор мы теперь лазали совершенно без всякого опасения — нас никто не ловил.

По отношению к делу под стать Глебову был и его зам — капитан первого ранга Бекетов.

Но если Глебов возвышался над землей на целых два метра, и еще столько же он имел в ширину, то Бекетов в холме от силы достигал ста пятидесяти сантиметров и рядом с ним выглядел, как оловянный солдатик, временно вынутый из коробки; но он был бывшим командиром подводной лодки, списанным с нее за лихость и

прочие безобразия, а потому человеком почитаемым и уважаемым.

Когда они шли вдвоем через плац, это выглядело так же, как если бы большая белая медведица шла рядом со своим неразумным медвежонком. Но это была только видимость.

Капитан первого ранга Бекетов знал эту жизнь с многих сторон.

Он обожал строить все училище после обеда на плацу, после чего он выходил в середину и начинал рассказывать примерно такое: «Лежу я вчера после обеда в траве за училищным забором и загораю, и вдруг мимо меня бежит нечто в тренировочных штанах. Я встаю и бегу за ним. Через пару минут я ему говорю: «Нечто! Вы мне напоминаете курсанта», — на что он мне говорит: «Отвяжись, дед!» — должен вам доложить, что я пока еще не дед». Из строя: «А чем дело кончилось?» — Бекетов: «Он убежал».

Сам я с адмиралом Глебовым встречался только два раза. Первый — я опаздывал из увольнения, а курсант, потный, бегущий наперегонки с секундной стрелкой, чтоб только успеть, чтоб добежать, всегда вызывал во всех встречных невыразимое сочувствие.

Словом, я бежал — автобус, собака, затормозил не там, и я через пампасы опрометью, рысью до забора, рывком на забор, прыжок вверх и

вперед, и... вот оно училище с высоты воробьиного полета.

Распластавшись в воздухе, как летающая лисица, я заметил, что лечу я прямо на адмирала Глебова, неторопливо бредущего со стороны иностранного факультета, а если и приземлюсь когда-нибудь, то уж точно у его ног, поэтому еще в воздухе я приложил руку к головному убору, чтоб на земле сразу же отдать ему честь.

Надо заметить, что он увидел меня и сейчас же понял мое состояние, потому что он остановился, развернулся в мою сторону, и, наблюдая за моими отчаянными попытками достичь земли, тоже приложил руку к головному убору, таким образом приветствуя и меня, и мои летательные достижения.

Наконец я достиг почвы. Удар был так силен, что ноги мои согнулись донельзя, а грудью я чуть не коснулся земли. Следует добавить, что честь я ему все еще отдавал, а выпрямившись, произнес что-то среднее между «здравия желаю» и «прошу разрешения». Он кивнул и сказал: «Разрешаю!» — я пулей помчался на факультет.

Второй раз мы встретились с ним, когда он мне вручал кортик и лейтенантские погоны.

Он мне их вручил, я развернулся лицом к строю и стал офицером.

Евгений Павлович Глебов умер через полгода после нашего выпуска.

Флот узнал об этом мгновенно — кто-то кому-то сказал, позвонил.

Я тогда купил водки, налил себе стакан, подошел к зеркалу, сказал сам себе: «За упокой души настоящего человека», — и выпил в полном одиночестве.

Остатки той водки я тут же вылил в раковину, потому что я ее вообще никогда не пил — ни до, ни после этого.

Через много-много лет мой бывший замкомдив капитан первого ранга Люлин Виталий Александрович пришлет мне письмо:

«Александр, здравствуй!

Я не случайно упомянул в прошлый раз о Евгении Павловиче Глебове.

Глубище по уму и порядочности. Мне хотелось узнать о нем твое мнение. У меня, кроме восторга и желания хоть чуть-чуть быть похожим на него, другой оценки нет. И как же было больно услышать о том, что его не стало! В мои времена он руководил кафедрой технических средств кораблевождения и впахивал в нас познания гироскопии. Евгений Павлович каждым своим жестом поднимал обучаемого до своего уровня. Самой страшной его «ругачкой» в адрес курсанта было шутовское обещание добавить ему извилин.

Училище Фрунзе отличалось множеством темных и узких коридоров. На переменах курсанты носились по ним, как угорелые.

Бежал однажды коридором мой однокашник, Борис Мурга, и впилился он со всего разбега башкой в живот Глебову. Боря (метр с небольшим) — упал и сомлел от страха. Глебов (два метра и вширь без ущерба) — поднял его и говорит: «Счастье твое, Мурга, что эм вз квадрат делится на два. Потом мне расскажешь, что было бы, если бы не делилось. Беги дальше».

В аудитории, где он нам читал свои лекции, были размещены тренажеры локационных станций. Их резиновые «намордники», величиной с хорошую кастрюлю, в перерывах непременно швырялись друг в друга. На истечении перерыва тот же Мурга очень удачно «отстрелялся» такой «кастрюлей» по приятелю и выскочил за дверь. Приятель изготовился для поражающего ответного залпа (уже звенит звонок и Мурга должен войти), дверь открывается, «кастрюля» летит и ... вклепывается в грудь Глебова, а за его спиной прячется Мурга. Здесь уже «сомлел» весь класс. Глебов берет за ухо Мургу и говорит: «Ты видишь, от чего я тебя прикрыл своей грудью? Это тебе предназначалось», — потом он обращается к классу: «Садитесь все. Предупреждаю, повторное использование материальной части не по назначению вынудит меня добавить вам извилин. Ищите другие шалости. Хотя, перерыв для того и существует, чтобы разрядится. Недавно я читал лекцию в акаде-

мии Генштаба и, после перерыва, увидел такую картину — четыре генерала жопой пятого стирали с доски. Вот как надо вдумчиво, по-генеральски, разряжаться. А вы все еще школярничаете. Продолжим дальше...»

Потом, уже после выпуска, отгуляв отпуск, мы — десять однокашников-штурманов, оказались одновременно в гостинице «Ваенга» в Североморске. Мы получили направления в госпиталь для прохождения медкомиссии на предмет годности к службе на атомных подводных лодках. Деньги моментально кончились. Припухать бы нам с голодухи крепенько, если бы не Глебов.

На наше счастье он прилетел на флот учить уму разуму флагманов и флотоводцев и на пару дней поселился в той же «Ваенге». Коллектив «изголодавшихся», просветлев умом, поручил мне перехватить у него «взаймы» хоть что-то. Вечером я отыскал Евгения Павловича в номере. Его реакция была мгновенной:

— Виталий! Большой сбор всем, у меня в номере. Ступай.

Через десять минут, гурьбой, мы ввалились к нему в номер. Пока здоровались-обнимались, в номере зазвонил телефон. Глебов снял трубку: «Спасибо, мы сейчас будем», — это ему доложились о готовности из ресторана.

— Други мои! — сказал он нам. — Мне хочется отужинать вместе с вами. Приглашаю. И вот еще что. На всякий случай, для вас я выкроил небольшую сумму из своих командировочных

запасов, отдаю их Виталию. Живите по средствам. А сейчас — к столу.

Накормил нас «от пуза» и дал мне двести пятьдесят рублей (по двадцать пять на нос)».

Ну, какое может быть мнение об адмирале Глебове? Это был человек.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На мысе Султан, что рядом с училищем (пешком можно дойти по тропе мимо заболоченной низины), стоял отряд катеров, и мы проходили там шлюпочную практику и на «курсе молодого бойца» упрямо гребли.

Шестивесельный ял — это я вам скажу штука, а две морские мили по одна тысяча восемьсот пятьдесят два метра каждая, да под волну, до вешки туда, остальное назад, — это визг и ветер.

А валец весла держать, если у тебя ладошка еще совсем детская, да не просто держать, а еще и грести под мичманское «Весла! На воду!!!» — это что-то.

Старшими на шлюпке ходили мичмана с кафедры морской практики — «Табань!.. Весла!.. На воду!.. Та-бань!..» — и так часа на три.

С той же шлюпки мы и купались, раздевшись голышом — «Не ссы, Маша, — смеялись мичмана, — с берега все равно не видать!» — и мы плюхались в прохладную воду, при этом приятно щекотало ничем не защищенную промежность.

От весел мозоли на руках, от баночек — то бишь, скамеечек для гребцов — мозоли на юных задницах. Первыми с кормы самые сильные, называются они «загребные».

Потом, на училищных танцах, показывали девицам мозоли на ладонях и под их восторжен-

ное аханье говорили им: «Это еще что, а видели бы вы, что у меня на жопе творится!»

В шлюпке меня сажали загребным. Рядом со мной обычно сидел Валера Собко — высокий и сутулый.

Валера был полунемец, что выяснилось много позже, и от этого жутко страдал.

Тогда у нас никто не обращал внимания на такую ерунду — кто, откуда и почему, у кого какая мама, а Валера, оказывается, обращал.

А еще у нас в клубе все время фильмы шли про то какие немцы обалдуи — в общем, чушь.

Рассмешить его было сложно, все время ходил с опущенной головой, говорил мало.

Он был самбист, чуть ли не мастер спорта, и к нему особенно никто не лез.

Валера попал на лодки.

Перестройка его оттуда вымела, в конце-то концов, а потом — сердце, два инфаркта и инсульт — и схоронили мы его.

Умирал он дома в полном одиночестве. Умирал целый год.

Его болей семья не выдержала, и он лежал один.

Как-то ночью от удушья он испустил дух. Кажется, его утром нашел сын.

Он все время жаловался жене: «Мне так больно!»

Она потом звонила мне и говорила: «Ты меня не осуждаешь?» — «Ну, что ты, Ирина!»

Валерка — это моя юность, в одном кубрике по подъему вскакивали вместе.

Однажды он явился с увольнения часов в двенадцать ночи под шафе и зажег свет в нашем ротном помещении под собственное ехидное: «Спите?!!» — в него немедленно полетел ботинок юфтевый по кличке «говнодав», который Валера принял на себя, после чего он аккуратно и молча потушил свет.

А однажды сцепились в классе, и он позволил мне себя к парте прижать. «Ну что, все, что ли?» — сказал он мне тогда. — «Все!» — сказала я и отпустил его — и чего мы тогда сцепились?

В классе редко дрались.

К примеру, Олег Смирнов схватился с Башаровым. Свирепо и коротко — за ворот и молотком по лицу. Еле растащили.

Башаров помнится мелким и вредным. Мы его звали «Украшение шкентеля».

«Шкентель» — это, по-нашему, конец строя.

До выпуска Башаров не дожил, ушел на флот.

Те, кто не доживал до выпуска, уходили дослуживать на флот, года на полтора.

Те, кто остались, учили, кроме всего прочего, химию, да еще и не одну.

В разные года у нас были: неорганическая, органическая, физическая, коллоидная, аналитическая, химия отравляющих и взрывчатых

веществ, и собственно радиохимия — химия радиоактивных изотопов.

В ходе изучения различных видов химии мы сталкивались с гениями.

Вова Вьюгин за банку сгущенки на вкус определял анионы и катионы на аналитике. Там каждый получал свою склянку с раствором и должен был определить, с помощью различных методик, что у него там.

Вове достаточно было одного глотка. Потом он говорил: «Катионы: марганец, натрий, алюминий и медь», — а хлебнет из другой посуды, и — «Анионы: хлор, эс-о-четыре, эн-о-три и... кажется, це-о-три... ну-ка, дай еще... да, точно, це-о-три...»

Вова никогда не ошибался.

После этих лабораторных его воротило от сгущенки.

Был еще Лобов или Лобыч, по кличке Лоб, который обожал на лабораторных работах все реактивы сливать в одну плошку до взрыва; а если на работах по органической химии говорилось, что надо следить за вот этим вот пузырьком и чтоб он ни в коем случае до вот этого места не доходил, то Лобыч доводил его до «этого» самого «места», а потом зажмуривал глаза, когда оборудование разлеталось на куски.

Правда, когда на практических занятиях по «процессам и аппаратам» у Гешки Родина гигантский кипятильник в руках рванул и все окружающие были посыпаны специальным белей-

шим песком из его внутренностей, Любыча рядом не было, зато там рядом был я и Олег Смирнов, и я был поражен той скоростью, с которой Олежа оказался под столом с полным ртом этого песка.

В классе меня немедленно стали называть «Папулей», потому что некоторым я прямо с порога объяснил, что такое грамм-молекула вещества.

«Папуля» — это кличка. Сокращенное от «Отца русской математики», потому что математику я им тоже объяснял.

Обычно это были нахимовцы. Этих зачисляли в училище без вступительных экзаменов на том простом основании, что они заканчивали нахимовское училище, а выпускники этого дивного учреждения в военно-морские училища поступали без особой натуги. Они здорово знали английский язык, а вот химия доходила до них в сильно искаженном виде.

Грамм-молекула способна была вызвать шок.

— Это количества вещества в граммах, численно равное его молекулярному весу, — я старался изо всех сил.

— А для чего?

— Что «для чего»?

— Для чего оно ему равно?

Сначала я думал, что надо мной издеваются, а потом понял, что мы имеем дело с девственностью сознания.

— Хорошо! — я решил, что на пальцах получится быстрее. — Ты себе на член можешь сразу двух женщин посадить? (Насчет члена нахимовцы все понимали.) Нет? Вот так же и молекулы. Парами они! Ебутся! Понятно?

— Парами? Понятно. А вес здесь при чем?

Блин! Разум мелкий, торопливый, взор таинственный.

— Вес — это и есть молекула. У каждой молекулы свой вес! Молекулярный! Ты пишешь реакцию для одной молекулы, а подразумевается, что...

— Ебутся миллионы?

— Копать мой лысый череп! Ты все понял, сын мой!

Ну, и так далее.

А теорию спинов я вообще объяснял на примере ботинок.

— Они уложены на орбите в разных направлениях.

— Зачем?

— Что «зачем»?

— Зачем в разных?

— Для экономии пространства. В коробке из-под обуви ботинки тоже лежат носами в разные стороны, для того...

— ... чтоб в коробку влезли?

— Да ты у нас гений, Козлодоев! Тебе это еще никто не говорил?

С математикой было хуже. Юра Васильев, читавший с шести до семи утра каждый день Диккенса в подлиннике, для чего его дневальные

будили в пять пятьдесят пять, никак не хотел согласиться с тем, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов. Мы с ним начали с интегралов и дошли до Пифагора, имея целью, видимо, таблицу умножения.

— Юра, блин! — кипел я.

— Папа! — говорил он мне и фальшиво плакал, а потом он еще раз кричал, — ПАПА!!! — и уже падал мне на грудь.

Так что в училище меня называли «Папой».

В училище было много кличек. Меня звали «Папой» или «Папулей». Лобова — «Лобычем» или «Лбом». Минькова — «Миней» или «Миндозой», Маратика Бекмурзина — «Маратадзе, Чавчавадзе, Коки» (это я придумал), Юру Васильева — «Васей», а Вову Шелковникова — почему-то «Петей».

Не оброс вовремя волосами — значит, ты у нас будешь «Лысым».

Перетянули в училище из института — значит, ты навсегда «Студент».

Юрку Колесникова звали «Колесо».

— Колесо, Колесо, — говорил ему преподаватель физической культуры майор Стожик, обладатель только одного легкого, второе ампутировали, — Колесо, встал на краюшке, вытянулся весь, и не смотрим вниз, и падаем.

Это у нас идут занятия в бассейне. Надо прыгнуть с пятиметровой вышки.

Юра отчаянно кивает головой, стоя на самом краюшке.

Потом он падает. Плашмя — туча брызг, майор Стожик стряхивает воду с середины штанов, а Юра всплывает из пучины, как лист фанеры, из стороны в сторону, после чего он, красный телом, опять лезет на вышку — надо прыгнуть правильно, зачет.

— Колесо, Колесо, аккуратней. Да не смотри ты вниз!

Хлоп! — тучи брызг. Опять плашмя.

— Колесо! Ты меня слышишь? Ты все понял? Смотри на меня! Ты все понял? — Юра кивает отчаянно, как влюбленный ишак, на ресницах у него капли воды, они никак не слетают, отчего те ресницы кажутся жутко лохматыми.

— Давай, Колесо!

Хлоп! — опять плашмя.

А Сережа Юровский никак не мог себя заставить подойти к краю вышки. Он только большие глаза делал да мотал головой — нет, ни за что!

И вот он решился — с разбега. Разбежался, прыгнул, но в последний момент, на одних рефлексках, выбросил руку в сторону и, как шимпанзе, поймал перила — его на лету развернуло и как лягву об асфальт — на!

Еле выловили потом в бассейне.

Бассейн — это всегда приключение. При сдаче вступительных экзаменов надо было проплыть

в бассейне сто метров. Один парень из Дагестана так хотел поступить, что никому не сказал, что он плавать не умеет.

По команде он прыгнул, погрузился на дно и уже по дну, цепляясь когтями, пополз к финишу.

В бассейне не соскучишься.

Олег, к примеру, Смирнов плавал брассом так шикарно, что при каждом нырке казалось, он обязательно хочет воды напиться. Он делал гребок, открывал пошире рот, потом нырок с открытым ртом, потом выныривал, отплевывался, обязательно вытирал себе рукой лицо, потом делал еще один нырок — и так, все время запивая, плыл себе сто метров.

Я же плавал, как молодая выдра, но это у меня с детских желез.

Мне только трудно было сдать на вступительных экзаменах бег — я в десятом классе перенес ревмокардит — это такая замечательная болезнь миокарда. Возникает она как осложнение после гриппа, когда он дает осложнение на гланды, а уже они на сердце, и вы учитесь сперва ходить по стеночке, а сердечко противно, как резиновое, стучит в ушах, и даже не стучит, а как-то шелестит; а после вы добираетесь до врача, и он за двадцать рублей — в те времена неплохие деньги — вырывает вам гланды почти по живому — не успело, видимо, как следует заморозиться, взяться новокаином, — после чего вы ходите по

земле с каждым месяцем все лучше и лучше; а вот уже и побежали-побежали, сначала всего несколько шагов, потому что сердце из ушей сейчас выпрыгнет, а там и вовсе пробегаете сто метров — вот бы не умереть, а на экзаменах пробегаете и того больше, кажется, тысячу.

У меня сердце в ушах шумело еще несколько лет, затем шум потихоньку стих.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Запах хлорки напололам с дерьмом. Это я про училищную столовую — запах хлорки напололам с дерьмом.

Летом перед входом в столовую стояли лагуны с хлоркой, а потом этими руками надо было есть.

Той же хлоркой посыпались туалеты.

Дивно.

На училищной фотографии мы стоим с Гешей Родиным. Лысые и счастливые — это мы после присяги.

Принимали мы ее с автоматами. Утром почистили автоматы, и на плац. Солнце и в душе ликование, а вдалеке — стайка родителей, потому что день открытых дверей, и их пустили на территорию, и они ходят по ней взволнованные, особенно почему-то отцы.

Как-то считалось, что отцы-то уж точно волноваться не должны, это мамы льют слезы, непонятно почему, а вот отцы — это да, эти лить не должны, но они часто отворачивались и чего-то там шмыгали, подозрительное это дело.

Только к собственным пятидесяти годам я понял, что это такое — быть отцом, когда мой личный сын три ночи ночевал где попало. Он ушел просто из дома, а мы все звонили по его знакомым: где он и как. Был праздник города, и он в свои семнадцать напился так, что сам идти

не мог и его тащили окружающие. Устали тащить — бросили, и его подобрала милиция, потом скорая, больница.

А мы обзвонили уже все милиции, все морги — так что нашли, поехали, да, привезли, накормили, да, отмыли-отмыли.

Отправляясь спать, он все твердил: «Простите меня, пожалуйста! Простите меня, пожалуйста!»

А в скорой он еще подрался с санитарями, потому что они его называли обезьяной — он у нас черненький, маленький, ершистый.

А я потом себе говорил, что это все от любви, оттого, что мы его любим, а он нами пренебрегает и надо любить его меньше, а лучше сделать над собой усилие и вообще не любить, и быть готовыми ко всему — убьют, закопаем.

Как его можно любить? Как? Он же каждый день другой, он растет и сегодня он уже не тот, что был вчера, а ты любишь вчерашнего, а перед тобой стоит чужой уже человек. Ты любишь чужого — так я себе говорил, убеждал, что все приму, все, что ни случится, только так, чтоб без дрожания губ и ресниц, чтоб заранее себя настроить, наострить.

А поехали из больницы забирать, и одежду теплую для него захватил. Там, правда, я ее ему швырнул, но потом, ночью, подходил к его кровати и слушал, как он дышит.

Так что тогда, на нашей присяге, отцы не знали куда себя деть — все верно, и мы были взвол-

нованы и тоже не знали куда себя деть, ходили и улыбались.

А Генке Родину я отдавал свое яйцо.

Но это на пятом курсе.

Паек курсантский увеличили, кажется, на девять копеек, и нам стали каждое воскресенье давать на завтрак вареное яйцо.

За нашим столом в столовой четверо — я, Генка Родин или «Гешка», Вова Стукалов — кличка «Стукал» и Олег Смирнов — кличка «Сэ-Мэ-эР».

Мы со Стукалом были местные и с пятого курса ходили на ночь в увольнение, так что мое яйцо забирал Гешка, а Стукаловское — Олег, так и кормились.

До сих пор помню коричневые макароны, капусту кислую, а затем тушеную и сало свиное, заменяющее мясо.

— Ро-та-ааа!.. Сесты!.. — когда заходит рота в столовую, то она выстраивается вдоль своих столов и по этой команде старшины садится и ест, потом — заправить тарелки, ложки, то есть сложить их горочкой на угол стола, старшина пройдет, проверит и..

— Ро-тааа!.. Встать!.. На выход марш!..

После обеда мы обязательно перехватывали в ларьке пачку молока — ноль пять литра — и коржик, а то до ужина не дотянуть.

А на ужин — вечный рис, а мимо нас, рождая зависть, вьетнамцам везли тележки с жареной

картошкой, но это только до тех пор, пока вьетнамцы не пожаловались: «У нас картошку ест самый бедный человек во Вьетнаме», — им хотелось нашего риса.

А еще нам очень хотелось мяса. Я и не знал раньше, что так может хотеться мяса, когда представляешь себе, какое оно по внешности и на вкус.

Мы его искали везде — в основном, на дне бачка с первым — там иногда выуживалось что-то напоминающее старую вареную парусину, которая разрезалась на равные кусочки на четверых.

Куском мяса мы особенно бредили после тренировок, когда под душем, без сил, лежали все ватерполисты и я в том числе, или когда поднимали гири, штангу. Жрать, жрать! — орало молодое тело. Оно хотело жрать всегда — мы никак не могли наесться.

А на тренировках огромные дяди из водного поло выставляли ногу на пути девочек-пловчих: «Бутерброд принесла?.. Какой-какой! Какой обещала!.. Тащи!!!»

Стыдно, но дома я мог съесть сковородку еды — а ведь она была на всех. Я краснел и сдавал бабушке свою училищную получку. На первом курсе — три рубля восемьдесят копеек, на втором — почти шесть рублей, на третьем — пятнадцать.

А еще в увольнении я отправлялся к своим девчонкам из бывшего класса, и они меня кормили

Особенно в доме у Наты — за что она потом попала ко мне замуж, и через множество лет уже моя жена Ната с утра сказала: «Посмотри, что у меня под глазом, — под глазом небольшая припухлость, — что там?» — «Ничего. Это называется: с пятидесятилетием, дорогая. Ничего особенного. К столетию такая же вырастет под другим глазом».

Ната сейчас же побормотала в мою сторону: «Дурак! — потом отошла и добавила, — Вот идиот!»

А у Бобиковых мне разбавляли компот. Их бабушка говорила: «Разбавьте ему компот», — и мне его разводили водой. Я этого не замечал, мне компот все равно казался жутко сладким, а Таня Бобикова, по кличке «Бобик», спрашивала меня, еле сдерживая смех: «Покровский, тебе еще компот налить?» — а я не понимал причину такого веселья и кивал — налить.

Девочки. Они потом превратились в женщин. От девушек и женщин всегда так восхитительно пахнет.

Ты не видел их неделю, а потом вышел в город в увольнение и сердце забилось в ушах.

Другая жизнь. Там, за забором, была другая жизнь. У нее другие звуки, ты от них отвык, они пугают.

У нее другие запахи, и тебя к ним тянет.

В увольнение строились сначала в роте.

— Первая шеренга шаг вперед шаго-ом... марш!..
Кру-гом!..

Старшина медленно идет, осматривая тебя спереди и сзади. Ты затылком чувствуешь его обшаривающий взгляд.

Если он ткнет тебя, то ты должен обернуться и представиться: «Курсант Покровский!» — а он тебе скажет: «Стричься!» — и побежишь стричься.

Если он скажет: «Бляха не драена!» — помчишься с остервенением ее драить.

Главное успеть встать в строй увольняемых. Невыносимо, если он проходит мимо тебя.

Меня на первом курсе замкомандира взвода главный старшина Завитуха, который был с четвертого курса, научил подшивать белоснежный подворотничок к сопливчику так, чтоб белых ниток не было видно.

Сопливчиком мы называли поворотничек, прикрывающий горло. Его носили с бушлатом или шинелью.

Застегивался он на крючок на шее сзади.

А спереди над ним должна была виднеться узкая белая полоска. Ее-то и нашивали, а белизна ее проверялась перед увольнением — «Подворотнички к осмотру!» — расстегиваешь, снимаешь, держишь перед собой в руках.

— Смотри, — говорил он, — надо втыкать иголку в то же место, а длинный стежок делать сзади. В то

же место ты все равно не попадешь, нитка сама найдет за что зацепиться, но ее не будет видно.

У бушлата, как и у шинели, имелся еще и собственный крючок впереди на горле. Застегнешь его, и концы воротника встают на свое место. Этот крючок всегда находил на кадыке во что воткнуться.

Главный старшина Завитуха — ясноглазый, невысокий парень с железным рукопожатием.

Он попал служить на Балтику. Говорили, что на флоте он спился.

Его лицо у меня перед глазами. Он что-то говорит, говорит. Я не слышу что, потому что он говорит в моих воспоминаниях. Помню только, что он всегда говорил только правильные вещи...

А вот я опять в столовой за столом, и мы снова едим, едим...

Я не мог есть училищное первое — борщ с комбижиром. Кажется, этой дрянью можно было заправить керосиновую лампу, и она бы отлично горела. Это собрание различных жиров отдавало машинным маслом, и его очень сложно было, запихав в рот, протолкнуть дальше в желудок — комбижир застывал тут же, на губах. Не знаю, на что нас только готовили, но переваривать гвозди мы научились быстро.

За училищным забором начиналась огромная маслиновая роща. Там трава в пояс, там инжир

и тутовники. Мы называли это место «пампасами»: «Пошли в пампасы?»

В пампасах бегали кроссы, перелезали через забор и бегали. Если натыкались на инжировое дерево, то бег заканчивался — ели инжир. Бегали парами и в одиночку. Самоволкой это не считалось, но лучше было сбегать так, чтоб никто не видел.

А еще мы ели маслины. Их вокруг и внутри училища было полно. Сначала шутили над иногородними: «Вот это маслины и их можно есть», — и горечь во рту немедленно отражалась на их лицах.

Маслины мы готовили в тех же химических лабораториях, где и учились — выдерживали их в поташе и в соли.

У Гешки Родина они получались очень вкусные. Гешка был в этом деле специалист. Он совсем не читал художественных книг. Лишен был этой извилины.

Зато он читал учебники по химии и работал во Всесоюзном научном обществе (слепых, чуть не сказал) курсантов.

Я тоже в нем состоял: писал работу по ядерной физике «Электрон так же неисчерпаем, как и атом».

Использовалась, конечно же, такая умопомрачительная работа Владимира Ильича Ленина, как «Материализм и эмпириокритицизм».

За нее обещали «пять» на экзамене.

Обещал мне ее Роджер Дмитриевич Житков, полковник и блестящий офицер.

Он блестел в буквальном смысле этого слова — аккуратный, начищенный, всегда сияющий. Он входил в наш класс, принимал идеальную строевую стойку во время доклада дежурного, потом — превосходный поворот «налево» и с улыбкой: «Прошу садиться!»

Мы назвали его «Веселый Роджер». Он так был всегда рад любому нашему участию в жизни пю-мезонов и лямбда-минус-гюперонов, что просто удивительно, а электроны на околоатомных орбитах у него всегда находились там, где и положено — в энергетических ямах.

Он считал, что все курсанты знают его предмет на «пять». Экзаменационные билеты раскладывали обычно мичмана с кафедры ядерной физики, и Роджер никогда их не перемешивал. Ему это, кажется, и в голову не приходило. Мичмана за бутылку коньяка светили билеты, и надо было только на бутылку сброситься.

Не знаю, что за приступ жадности тогда во мне случился, но я объявил в классе, что мне и так ставят «пять» за реферат и чего мне сбрасываться на бутылку.

Никто не возражал, и меня обязали идти на экзамен последним, чтоб остальным не мешать.

Так и договорились.

Роджер спутал нам все карты. Увидев меня в строю испытуемых, он воскликнул: «Друг мой! Вы отвечаете первым. Берите билет».

Полумертвый от ужаса, я взял билет. Это был билет Толи Денисенко. Я не помнил, что я там лепетал, ядерная физика немедленно испарилась из моей головы. Я подвел, подвел весь класс, билеты смешались.

Столько лет прошло, а я помню, как у меня от стыда горели уши.

Роджер сразу понял в чем дело. Ни одним движением он не выдал того, что ему все стало ясно.

Весь класс сдал на «отлично». Я готов был сквозь землю провалиться.

Через много лет я встретился с «Веселым Роджером». Он тогда уволился в запас, но все еще бодрился, бегал кроссы.

А потом, за ненужностью, он быстро постарел, стал выпивать и получил свой рак.

Меня он по-прежнему привечал, говорил при встрече: «Друг мой!»

У меня есть подаренная им книга, «Прикладная ядерная физика».

Я ее десять лет по разным местам на севере таскал и на саночках в чемодане перевозил с точки на точку.

В чемодане было много книг, но со временем они куда-то пропадали, их воровали.

«Прикладную ядерную физику» Роджера Дмитриевича Житкова, блестящего офицера, никто не украл.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Папа-док! Пошли загорать! — это Маратик Бекмурзин. Я его зову «Маратадзе».

— Пошли.

Мы берем с собой Вовку Шелковникова (кличка «Петя») и идем на стенку, к воде, загорать.

Тепло, солнышко и от воды блики. Мы жмуримся и ложимся на сухие водоросли. Их выбросили волны на камни, и теперь они высохли как сено — приятно, тепло.

Прежде чем лечь, лучше осмотреться, а то вляпаешься в мазут, его тоже выбрасывает на камни вместе с водорослями.

Обеденный перерыв до 15.00. Святое время сна на флоте.

Построение в 14.55 на верхней палубе. Место построения — шкафут, правый борт.

Шкафут — это, по-человечьему, середина корабля.

Этот сон еще называют «адмиральским».

То ли адмиралы так спят, то ли они разрешают другим в это время дрыхнуть — этого мы еще не знаем. «Адмиральский» так «адмиральский». Нам все одно. Лишь бы не трогали.

Можно и в кубрике спать, но там из вентиляции крысами воняет.

Мы на практике после первого курса. У нас месячная практика на СКР-е.

СКР — сторожевой корабль. Ему куча лет. Он старенький, принадлежит Краснознаменной Каспийской флотилии и стоит у причальной стенки.

У нас корабельная практика на этом славном корабле.

Все это на Баилове, о котором мы уже упоминали. Там у стенки все время стоят какие-то военные корабли, из которых один наш.

В основном мы на нем приборку делаем по три раза в день водой и шваброй, и один раз в неделю — большая приборка с мылом.

Швабра на длинной палке — куча веревок, тяжелая. Ее называют здесь «машка».

Все расписаны по участкам верхней палубы и внутренних помещений.

Мой участок на баке, то есть на носу, рядом с носовым орудием.

На приборке есть старший — старший матрос с корабля — спокойный, ленивый «годок».

«Старший матрос» — это воинское звание. Я на втором курсе училища тоже был старшим матросом — это одна лычка на погонах.

«Годок» — это тот, кому осталось служить только один год. Два он уже прослужил.

Раньше срочную служили пять лет, и тогда «годками» считались те, кто прослужил четыре.

Теперь служат по три года, и годок помолодел.

На нем все здесь держится. Он что-то вроде старосты. Таких орлов на корабле с десяток.

Они им и управляют.

Есть еще боцман — этот как рявкнет утром на кого-нибудь, так палуба и мертвеет — все куда-то исчезают. Есть старпом — но в его присутствии мертвеет боцман.

Есть еще командир — но его мы видели только парочку раз.

Есть еще командир дивизиона сторожевых кораблей — стремительный капдва, с быстрой речью, и надо соображать с великой скоростью, чтоб ему вовремя ответить.

А так всем заправляют «годки».

Приборка на них. Они строят молодых матросов, раздают инвентарь — и зашуршали.

Мы слышали про годков всякое. Жесткое это воинство, жестокое.

Странно, но «годки» на этом СКР-е никого не уродуют, ленивые какие-то.

Только один раз мы видели сцену в матросском кубрике: годок вроде бы боролся с молодым.

Была освобождена площадка, они возились, и зрители подбадривали и того, и другого.

Все закончилось так же, как и началось — вдруг. В конце схватки молодому шлепнули по шее — он не возражал.

От подобных сцен нас — курсантов — берегли. Мы все-таки были из другого мира.

Но приборку мы «шаршили» так же, как и все остальные, и наш «годок» работал вместе с нами.

Кажется, ему нравилось, что он командует будущими офицерами.

А еще мы изучали устройство корабля, корабельные расписания, организацию жизни, службы.

Мы были дублерами на боевых постах. Я, например, был артиллеристом.

Устройство корабля нам рассказывали те же годки. Они же с удовольствием проводили экскурсию, каждый по своему заведованию. Самое запоминающееся из нее то, как они спускались по вертикальному трапу без помощи рук — это высший шик, и такой спуск мог быть повторен только «на бис».

Выглядело это так же лихо, как, например, движения гиббона по лианам.

«Как это вы делаете, а можно еще раз?» — Бога ради, на еще раз.

В конце месяца СКР, наконец, вышел с море на артиллерийские стрельбы — море, скорость, боевые развороты, подготовка к стрельбе, ветер в ушах.

Было отчаянно свежо, я блевал.

В промежутках я успевал затыкать уши — стреляла стомиллиметровая пушка. Ох, она и да-

вала! Бах-бах! Трах! — в голове нытье. Сперва она била по плавучей мишени, а потом по берегу, по скале.

Корабельные дела у нас теперь будут летом и каждый год.

На втором курсе нас вывезут на штурманскую практику на ОС-15.

ОС-15 — опытовое судно. Переоборудовано из СДК — среднего десантного корабля — под курсантские кубрики — двухярусные койки в гигантском носовом трюме. Вниз — крутая лестница — трап. По нему спускаешься, как в чрево невольничьего судна. Наверху — световые люки. Заглянешь — страшно падать

А качает как — мама дорогая. Не то что я — половина народа в лежку.

— Штурманская рубка, штурманский класс, время поворота на курс 270 градусов! — это нам по корабельной трансляции.

«Штурманский класс» — это место на нижней палубе, где столы с картами и где мы, химики, ведем прокладку — работаем штурманами. Поблевал и за дело.

Нос корабля выпрыгивает на волну, потом вниз, и тебя вжимает в палубу, отчего подгибаются ноги.

В носовой галльюн лучше не ходить. От удара о воду вышибает гидрозатворы и из дучки струя бьет вместе с дерьмом сначала строго вверх, в

подволок, а потом по стенам и вниз. Удар — опять вверх.

Плохо всем, даже крысам.

Сложнее всего в это время бачковать, то есть с бачком под второе стоять в очереди на камбузе. Получил — рис и мясо горкой сверху. Теперь осторожно назад, бачок впереди себя двумя руками, и тут на трапе попадаешь под волну, и тебя на каждой ступени вжимает в палубу так, что глаза уже впереди бачка, и ты с этим тазиком у ноздрей, растопырив локти, летишь вперед — ешь!

Вывалил на палубу.

Руками, обжигаясь, все назад в бачок — рис, а теперь и мясо аккуратненько сверху, — ой, как хорошо! — и бегом в трюм. Расскажешь — убьют.

— Саня, ты чего не ешь?

— Качает. Не могу.

— Ну, тогда я за тебя.

Чуть не сказал: «На здоровье!»

Некоторые при качке активнейше жрут, остальных поводит да поташнивает.

С нами тогда Раенко ходил. Читал нам Корабельный Устав. Как-то в кубрике на занятиях объявили по радио: «Космонавты такие-то при приземлении погибли. Разгерметизировалась капсула».

Раенко прервал занятие. Я встал первый, за мной — все остальные, потом командир наш сказал: «Прошу садиться». Занятия продолжились.

Сан Саныч Раенко, доблестный наш командарм, продолжил бы занятия, даже если б его мама померла. Мы в этом были уверены.

И еще мы были уверены в том, что если чуть чего, то мы к нему прибежим.

Старшим в этом походе у нас ходил капитан первого ранга Бегеба — списанный командир лодки. Шепотом говорили, что у него на лодке был пожар, потом взрыв торпедного боезапаса. Спаслись только Бегеба — он был наверху, его отбросило так, что на руках потом волокли, и он никого не узнавал, и командир БЧ-5 — тот вообще во время взрыва в штабе был.

Погибли и люди, и лодка. Никто не знает, почему никого не спасли. Скорее всего, все были в шоке и не думали спасать людей.

Бегеба — спокойный, медлительный, будет мучиться этим до конца дней своих.

Я у него в каюте приборку делал.

— Да, у меня чисто, — говорил он мне всякий раз.

— Я только протру, товарищ капитан первого ранга.

Там каюта была размером с копейку. Палуба протиралась одним махом.

По ночам я выбирался на верхнюю палубу.

Из-за духоты не мог спать в кубрике. Да и воняло там. Нам разрешали до подъема спать на верхней палубе. Так что, как ночь, скатал мат-

рас, в него — одеяло, подушку — все это под мышку и наверх.

Просыпался утром оттого, что из моря выплывал диск солнца.

Красивый, просто потрясающе красивый.

На палубе роса, и я в росе, вместе с одеялом, подушкой и пробковым матрасом.

Жуткая штука — этот пробковый матрас — жесткий и пробка шуршит, но спать можно.

На корабле вообще высыпaeшьcя.

Если б мне предложили сейчас спать на верхней палубе корабля, я немедленно сказал бы: «Да»

Утром — штиль, вода как шелк, и из-за горизонта выбирается диск солнца. Он сначала совсем не горит, только потом вспыхивает. Странно, хорошо на душе и жить не страшно.

Мы с корабля даже купались. Останавливались, и — «Построиться для купания. Шкуфут, правый борт. Форма одежды — плавки, ботинки!»

Снимаешь ботинки и по команде — в воду.

Ботинки оставляются с тем, чтобы потом, вернувшись из воды, сказать кто утонул — каждый знал кто стоит рядом. Таков порядок — ботинки за человека. Все вылезли из воды, надели ботинки — значит, слава Богу.

В воде боязно. Хорошие пловцы жмутся. Под нами метров пятьдесят до грунта. Тут тебе не бассейн.

А я любил плавать в открытом море, но это у меня с детства. Никогда не интересовался, сколько там подо мной метров. Плынешь и вертишь башкой во все стороны — чтоб не напороться на чего-нибудь ни снизу, ни с боку, ни с другого боку — красота. Хорошо еще, если вода теплая.

А бассейные пловцы поджимают ноги — бояться бездны.

Мы месяц по Каспию ходили и только в Красноводске впервые на землю сошли. Когда шли, смешно качало при ходьбе.

В Красноводске только красный песок вокруг и больше ничего. Пустыня со всех сторон. Как тут люди живут? На базаре — арбузы. Мы сейчас же купили один и тут же съели — хотелось пить.

Где-то в этих песках расстреляли двадцать шесть Бакинских комиссаров.

Вывезли из Баку, привезли в эти пески, отвели в сторону и шлепнули.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В училищном клубе показывали кино три раза в неделю — в среду, субботу и воскресенье. Немцы с иностранного факультета говорили: «Опять ваши показывают, как они побеждали наших».

Это немцы из ГДР. Прилично говорят по-русски. Здесь все иностранцы прилично говорят, их целый год только русскому и обучают.

Немцы — настоящие тейфтоны — высокие, мускулистые. Самый мелкий — метр восемьдесят. Плавают в бассейне как рыбы. Тренируются, все время в спортзале, ходят только строем и никогда не опаздывают.

Однажды по плану в какой-то праздничный день, кажется 7 ноября, было перетягивание каната. Дружеская встреча команды химиков и команды из Германской Демократической республики.

В 15.00.

Немцы позвонили на наш факультет без четверти три по полудню и сказали: «Мы идем!»

Первый вопрос, который задал дежурный по факультету после этого звонка самому себе: «Куда?» — потом он посмотрел в суточный план.

Там стояло «перетягивание каната», он про него забыл.

Пятнадцати минут ему хватило, чтоб пробежаться по всем ротам химиков и поднять с коек всех, не ушедших в этот день в увольнение. По-

том он их построил перед факультетом и вручил конец каната.

Построить на это перетягивание ему удалось только тех горьких пьяниц, которые с трудом передвигались после ночи, проведенной в «самоходе».

«Самоход» — это самоволка, самовольное оставление части по ночам и вечерам в надежде поебстись.

Вот они и поеблися, а потом, все еще пьяненькие, решили поспать днем в праздничек, а их за шкварник и на канат.

Немцы появились ровно в 15.00. Строем — раз-два! «Ахтунг!» — наши тоже сделали «ахтунг», то есть напряглись на том конце. Потом немцы дернули за веревочку — наши посыпались на землю как поленья, после чего некоторые не захотели даже вставать, так и лежали раскинув руки и ноги — и все это рядом с памятником курсантам нашего училища, в годы войны заслонившим, защитившим Суарское ущелье от нашествия дивизии «Эдельвейс».

У этого памятника есть своя история.

Война, фашисты идут на Кавказ.

Немцы тогда двигались на Ордженикидзе, и вот где-то на подступах, в ущелье, наши забыли разведроту.

Сто человек.

У них были только автоматы да патроны и всем им было по восемнадцать лет, потому что они были курсантами первого курса.

белоснежные рубашки, воротнички, заколки в галстуках, сапоги как солнце.

Им обещали, что дорога впереди идеальна, никакого противника нет, а тут — ерунда какая-то.

Они вызвали авиацию — небо закрыли тучи самолетов, а потом на землю полетели бомбы — сотнями.

И земля встала раком.

Они это запомнили.

Это я о ветеранах. Их бесполезно расспрашивать о чем-либо еще — эти люди плохо выражали свои мысли словами, но это они запомнили.

Они запомнили то, как земля встала раком.

И то, как в каждую свежую воронку бросались, чтоб только уцелеть в мясорубке, и то, как осколком ранило — «Пашку! Помнишь, ранило Пашку, а он сидит и кишки свои с песком назад в развороченный живот запихивает! Я ему: «Пашка! Пашка!» — а старший прибежал и говорит: «Брось его! Он уже готов!» — а у него же глаза и как тут бросишь, это же Пашка!»

У них был еще и старший.

Они потеряли не только Пашку.

Из сотни их остались считанные единицы.

После самолетов был еще артобстрел — земля гектарами поднималась на воздух.

А потом на них пошли танки.

Многих убили именно танки.

Они охотились за каждым бегущим — дуло туда, и пошел снаряд.

Они их снарядами из танков в основном и побили.

Я был в том ущелье через много лет. Хотелось посмотреть, где это все происходило.

Были там и оставшиеся в живых ветераны того самого сраженья.

Я думал, что ущелье то очень узкое, иначе как горстка курсантов могла сутки держать там «Эдельвейс».

Ущелье не узкое. Там стоит село.

А немцев они действительно остановили. Те повернули и пошли другой дорогой.

Мало ли вокруг дорог на Ордженикидзе?

Оставшиеся в живых будут приезжать сюда после войны.

И курсантов из нашего училища будут присылать сюда каждый год в день обороны.

«Айн! Цвайн! Драй!» — это немцы из ГДР разминаются в спортзале. Мы здороваемся. Я тоже занимаюсь в том же зале. Немцы работают на снарядах, как хорошие механизмы. Я от них не отстаю.

За моим выходом силой сразу на две руки на перекладине они наблюдают очень внимательно. Просят показать, как я это делаю.

Я показываю.

Потом я занимался гирями, потом штангой, водным поло, бегом, плаванием и всякими штуками на брусьях.

Однажды я участвовал сразу в трех училищных соревнованиях.

Я плыл стометровку, потом поднимал гири, а после гири полез на перекладину.

Проплыл я неплохо, на гирях стал чемпионом училища, после чего мне уже было все равно, как я выступлю на перекладине сразу в трех упражнениях — выход силой, подъем переворотом и поднесение ног к перекладине.

После перекладины я припелся в роту — в спальное помещение — и рухнул в койку.

Заснул я немедленно. Под веками у меня бежали солнечные зайчики.

А с этими училищными немцами мы часто играли в водное поло. Играли они здорово.

Водное поло — игра жесткая. Если противник с мячом, на него можно наплывать и топить, но только он отпустил мяч, а ты его все еще топишь — тебе штрафной.

А какие в водном поло симпатичные приемы, например, «отвал» — это когда двумя ногами упираешься в грудь противника и, вроде при рывке за мячом, он летит в одну сторону, а ты получаешь ускорение, как от стенки бассейна, и летишь в другую.

Или «проворот» — в плавки противника незаметно суется нога и потом резко она там проворачивается.

Противник тонет вместе со своими яйцами, он изо всех сил показывает, что его топят и калечат нещадно, а ты показываешь судье руки, мол, не держу я его, это он симулирует.

А удар мячом? Удар мячом может быть такой силы, что не выдерживает сетка ворот.

Всегда стараются попасть мячом в лицо вратарю — если он пропустит удар, то потом, рефлексивно, будет бояться мяча.

Я как-то получил мячом с четырех метров в нижнюю челюсть.

Рот у меня долго не закрывался, и я немедленно отправился на скамейку запасных.

А с немцами в воде однажды схватился наш нападающий — кличка «Черт».

Это было в конце игры, уже раздался финальный свисток, а эти два дурня, «Черт» и высокий немец, все еще кружили на середине бассейна, пытаются друг друга утопить.

Наконец, они полностью скрылись под водой.

Потом у края бассейна показался обессиленный немец. Он выполз на бортик без плавков, сказав по-русски: «Ну его на хер!» — за ним вылез «Черт» с его плавками.

Плавки он снял с него приемом «проворот».

О нравах ватерполистов всегда ходили легенды. Рассказывали, как в бассейне ЦСКА проводилась тренировка по водному поло и по команде «Вперед!» — в ванный зал вбежали эти водоемы.

лошади, а в ванне кто-то плескался, изображая движение брассом.

— Эй, протоплазма! — заорали ему. — А ну, вылезай!

«Протоплазма» вроде замешкалась. Может быть, она что-то не услышала, не поняла — мяч в руку и с размаха ей по спине.

Я же вам говорил, что такое удар мячом — бедняга стал тонуть сразу, раскинув верхние и нижние конечности, как дохлая ящерица.

Еле спасли. Оказалось, что на сей раз спасли надежду нашей сборной по классическим шахматам, гроссмейстера Карпова.

Ватерполистов потом построили, и они хором проорали: «Извините, товарищ Карпов!»

А в общем-то, драки только в воде. На бортике и под душем никто не выясняет отношений.

Ну да, дали тебе по башке, ну и дай в ответ, но — только в воде.

— Саня! Плыдем десять по сто?

Это когда надо на время плыть стометровку — несколько выдохом в воду у стенки и сразу следующая.

И так десять раз.

— Плыдем.

Или «на столба» ходить — вертикально в воде, работая одними ногами, пройти целый бассейн. Прошел? Теперь еще один, и еще.

Или сажаешь человека на плечи — он на тебя сзади наплывает, и ты с ним потом должен плавать.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Странная штука — человеческая память. Когда брожу по ее закоулкам, я слышу разговоры, шепот, вижу людей, вижу даже самого себя, шум, хлопают двери, шорох, шелест бумаги.

Ею застилается тумбочка, первый курс, она розового цвета, эта тумбочка. Ее застилает Валера Мотыцын, по кличке «Лысый». Наши койки стоят рядом. Мы проспим рядом несколько лет.

Валера мне что-то говорит. Плохо слышно. Я не различаю слова, киваю.

Все это в памяти, поэтому и нельзя сказать: «Лысый, чего ты говоришь?» — все это там и никак не сделать звук погромче. Не делается он, и потому я киваю — да, да!

А вот мы уже в оружейной. У нас чистка оружия. Почищенное оружие надо показать старшине, моему командиру отделения с третьего курса. Его зовут Рябов. Старшина второй статьи Рябов.

Я в третьем отделении третьего взвода.

А во втором отделении старшиной был Никонов.

Он показывал мне, как надо правильно тряпкой мыть палубу.

У меня был наряд на работу, и я изготовился, разлил по палубе воду, собираясь после отбоя его отрабатывать.

— Не так! — сказал он. — Надо отжать тряпку почти насухо, тогда она будет собирать грязь

лучше и быстрее. А так — это ерунда. Вот, смотри!

И он сам начинает мыть палубу вместо меня. У меня был наряд на работу, его дал мне старшина Рябов, а старшина Никонов научил меня, как надо мыть, а заодно и помыл, а теперь я учу мыть пол своего сына: «Не так! Смотри, как надо! Надо отжать тряпку почти насухо...»

А сейчас я перед дверью в умывальник. Толкаю ее — за ней Виталик Антоненко обливается по пояс холодной водой — он ухает, возбужден. Говорит, как это хорошо, здорово.

Виталик из «общехимиков», и мы с ним после выпуска увидимся только через двадцать лет.

А с Шуриком Алексеевым я вообще не увижусь, мы с ним только сфотографировались на первом курсе, потом проучились в одной роте пять лет, и все.

А еще я не увижусь с Сашей Бондаренко и с Леней Буко.

Леня первым вступил в коммунистическую партию, чем меня очень удивил.

Оказывается, надо с первого курса думать о своей карьере.

А Пашу Спильного я увижу только на двадцатилетии после выпуска, и он мне страшно обрадуется. Паша наотрез отказался идти на подводные лодки. Я его не осуждаю.

А еще я не осуждаю Володю Каменчука. Я встретил его на севере через много лет.

«Саня, заходи», — сказал он мне. Мы давно не виделись, а он мне это сказал так, будто мы расстались только вчера и далеко не в лучших чувствах.

С ним в училище дружил Коля Миньков, по кличке «Миня».

А у Володи была кличка «Камень».

Не разлей вода друзья были.

Коля мне потом говорил насчет «Камня»: «Я ему сказал: все, Володя, все!» — Коля пригласил его на какое-то свое торжество, а тот не пришел, и тогда Коля сказал, что теперь не считает его своим другом.

— Рота, равняйся! Смирно! Слушай вечернюю поверку!

Это наш старшина роты. Главный старшина Минаков — резкий, строгий. Он на три года нас старше. Четвертый курс. Потом, когда мы будем на пятом, нам скажут, что он заболел. Списался, как душевнобольной. Он, вроде, попал на Черноморский флот, на крейсер. Там он сказал, что скоро он станет командиром крейсера.

Посчитали, что он спятил.

Я в это не верю.

А про замкомандира роты Шурика Гарькавого — спокойного, улыбчивого, смущающегося по пустякам пятикурсника — говорили, что на севере он сразу стал не в себе.

На вечерней поверке старшина называет твою фамилию, в ответ надо выкрикнуть из строя: «Я!»

Высший шик — фамилии произносятся быстро, старшина говорит их наизусть.

— Яременко!

— Я!

— Шегуров!

— Я!

Яременко или «Ярема» — странноватый парень. Умница, но уже год проваландался на флоте, поступил, не захотел, ушел на флот, вернулся, теперь учится с нами.

На четвертом курсе он опять уйдет на флот.

И Петя Андреев уйдет. Тоже на четвертом курсе.

Когда он уходил, у него были глаза собаки.

А с Минаковым мы бегали, занимались спортом.

— Ты меня будешь тренировать! — сказал он мне.

Я тренировал его на перекладине. Не может быть, что он умом поехал.

А потом память может подсунуть тебе такое: десятки тонн воды превращаются в длинный столб,

тонкий, упругий, как бич, и лупят по корпусу лодки.

Все это во время урагана.

Он повалил в поселке столбы электропередачи, а я стою на пирсе, держусь за поручни на трапе и только вздрагиваю и жду, чтоб проскочить между ударами, а то ведь размажет...

Штормовое предупреждение, вахта ослабила концы и они провисли, а иначе лодка отойдет и они лопнут, как струны.

Как-то раз швартов разорвало у меня на глазах — это будто кино запоздалое, медленно конец его распустился, как жало, на множество металлических нитей, и каждая из них грозила растерзать все, что только под руку подвернется.

А вот мы спешно выходим в море. Идет экстренное приготовление. Оживает, ворочается винт, как бык в трясине; и вокруг корпуса слева и справа вырастают столбы воды — это воздухом цистерны главного балласта продувают; и клапаны в проходах седьмого отсека щелкают, как клювы гигантских птиц, и стержни на реакторе движутся, как суставы паукообразных, а в центральный летит хлеб в целлофане блестящей струей.

«Яйца в первый!» — «Куда это в первый?!» — это торпедист.

«Я сказал в первый!» — это старпом.

Раз старпом сказал «в первый», значит так и будет...

Впервые на лодках на севере я оказался на третьем курсе. Потом я там был на четвертом.

Сначала мы бездельничали, ходили в сопки загорать и купаться на озера.

Летом вода там прогревалась ровно на двадцать сантиметров, так что плыть следовало осторожно, чтоб себе хозяйство не отстудить.

В сопках за нами гонялся патруль: мичман и два матроса. Мичман даже пистолет вынул, до того ему хотелось нас изловить — мы брызнули в стороны лучше зайцев, а потом мы забрались на скалу, и мичман за нами и туда увязался — очень настырный.

Тогда мы со скалы прыгнули вниз — метров с пяти в торф.

Вошли по колено.

Мичман рисковать не стал.

А еще мы загорали голышом на берегу залива. В воду мы тоже полезли. Она была примерно восемь градусов и больно сжимала икры.

А потом за нами пограничный катер начал охотиться.

Подкрался и сказал в мегафон: «Всем оставаться на своих местах!» — тут-то мы и рванули, голые по кустам с одеждой в руках, а он по нам из пулемета — поверх голов, конечно.

В сопках красиво: ковер из ягеля — желтый, серый, изумрудный.

Упругий, пружинит при ходьбе.

И везде озера — маленькие и большие.

Чистые, можно пить, вода вкусная. Много морошки, черники.

Сквозь тучи пробиваются лучи солнца. Они тянут свои нити до земли, и вдруг может пойти снег — мы такое еще не видели.

А за Западной Лицей есть Долина Смерти — кости человеческие до сих пор среди ягеля виднеются, а под торфом — мины.

Как только торф гореть начинает, мины рвутся — только вверх взмываются черные столбы пыли.

На миных ежегодно подрывалось несколько человек.

В Долине Смерти полно оружия — патроны, гранаты.

Говорили, что когда-то находили и склады с продовольствием. Немецкие — сгущенка, тушенка, шнапс, колбаса твердого копчения — в вечной мерзлоте все как новенькое.

Наши находили только патроны и, конечно, бросали их в костер — ума в этом возрасте все равно нет.

Все мечтали найти склад с продовольствием. Больше всего интересовала колбаса твердого копчения.

С боевыми гранатами мы еще на первом курсе учились обращаться: выдернул чеку и бросил. Самое сложное заставить себя при броске ладонь разжать — как только чеку выдернул, она деревенеет.

Бросали мы ее в морской пехоте. В специальном окопе сидел инструктор. Надо было размахнуться и... перебросить ее через брусер. Если не получится, то она тебе после броска назад под ноги скатится, но для того рядом с тобой инструктор — он подхватит ее и выкинет, у него на это секунды две.

Бросали, и осколки после каждого взрыва противно пели.

Казалось, что совсем рядом бабахает.

Это мы на практике в бухте Казачья. Там есть полк морской пехоты. Все это под Севастополем.

Поездом до Керчи, а там паромом вместе с вагонами.

«Мор-с-ка-я пе-хо-та! В наступ-ле-ни-и... в отступ-ле-нии и в...»

— Паническом бегстве! — добавил я с места.

У нас урок тактики морской пехоты. Преподает полковник. Их еще называли «черными полковниками» за морскую форму и красные погоны.

Наш полковник брал Берлин, а я ему такую гадость сказал.

В общем, у меня с тактикой морской пехоты потом были сложности.

Два шара вlepили.

А в этой севастопольской морской пехоте нас обкатывали танками таким макаром: на тебя идет танк, а ты в окопе, бросаешь в него гранаты, а

потом ложишься на дно окопа, и он через тебя переезжает.

Может и «поутюжить» слегка.

Так, чтоб только чуть обкакались.

И в противогазе по жаре мы там вволю набегались.

«Химики?» — «Так точно!» — «Газы!» — противогаз на рожу и марш-бросок по сухой степи.

А вот вам еще картина:

Ночь. Луна. От нее свет. В этом свете лагун с картошкой и рядом маленький курсантик с ножиком. Чистит. Вырезает глазки. Никого рядом нет, потому что все отошли — перекур, а этот из некурящих. Вдруг из тех кустов, что рядом, бесшумно выбирается старшина морпех — огромный, глаза безумные от непрерывных учений: «Ты что здесь делаешь?» — это он курсанту. Тот сразу пугается и блеет: «Глазки режу». — «А что мы жрать будем?!»

Вот примерно так мы практику и проходили.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С первого курса мы регулярно сдавали кровь. Раз в полгода по двести пятьдесят грамм.

«Добровольно, но принудительно!» — как нам объявил в первый раз старшина роты.

Было боязно, выездная бригада кровесборщиков, среди них почти все женщины да девушки, и мы — одетые с порога в белые одежды.

После сдачи все возбуждены.

Потом отпустили в увольнение, сказали, что надо выпить красного вина.

В увольнение я пошел, а вино пить не стал. После сдачи крови жутко хотелось мяса. Мне даже снилось, как я его ем.

— Беритесь с двух сторон и понесли!

В лагуне с первым колышется жир. Он в моей памяти часто колышется.

Потом так же в моих снах будет плясать портовая вода со всякой дрянью.

Мы выносим лагуны с остатками в один большой общий бачок, потом его повезут на подсобное хозяйство, где выращивают свиней.

Внезапно подумалось, что мерзко было бы утонуть в таком лагуне.

А вот мы уже катаемся на тележке, на той, что только что отвезла этот общий бачок. Мы в камбузном наряде. В него ходит только первый курс. На нас белая форменка б/у и такие же штаны. Сначала они белоснежные, а в кон-

це вахты на них страшно смотреть — черные, сальные.

— Папуля, пойдем чего-нибудь поедим?

Через пять минут мы уже обедаем тутовое дерево. Мы с Маратиком все время что-то обедаем или затеваем смешную словесную потасовку. Обычно во время нее достается Мине. Словесная потасовка перерастает в физическую, и мы бежим от Мини, который нами доведен до белого каления.

— Ой! Ой! — орет Маратик. — Миньков сошел с ума! Держите его! Миня! Минька! Миньков! А вот как правильно делать ударение на первом или последнем слоге? Миндоза! Что вы себе позволяете?

А Миня в этот момент пытается достать его через стол.

Мы уже в классе и бегаем по нему — дурачье, конечно.

«Вы чье, дурачье?» — «Пока ничье».

Здесь часто подшучивают.

Однажды пятикурсники внесли на второй этаж новенький «Запорожец» одного из преподавателей.

В другой раз они его воткнули между четырех сосен. Перевернут на бок, внесут и вставят.

— Начать приборку!

Мы делаем приборку утром, после физзарядки и заправки постелей, потом у нас умывание и построение на утренний осмотр.

— Гюйсы к осмотру!

Воротник, по-нашему «гюйс» — голубой, по периметру три белые полосы, — нужно снять с шеи, перевернуть и показать старшине на предмет чистоты.

Я себя всегда чувствовал при этом кобелем, у которого то и дело на выставке проверяют яйца.

А мне рассказывали, как в «центральном аппарате» один капитан первого ранга прибыл с «тревожным чемоданчиком» (есть такая штука, куда складывается всякое на случай жизни), в котором была несвежая кремовая рубашка, так его заставили пройти перед строем таких же капразов и всем показать свою несвежую рубашку.

Вот такое наказание.

И он прошел и показал. Наверное, очень любил служить в «центральном аппарате».

— Маратик! Все! — Миня все-таки поймал Маратика.

— Ми-ня! — орет Маратик, потому что Миня ему только что сдавил шею, зажав его голову в своей потной подмышке.

— Миня! — говорит Маратик, оказавшись наконец на свободе, — Ты когда-нибудь свои подмышки моешь? Невозможно же! Это какой-то кошмар! Я же чуть не помер! — и Миня опять за ним побежал.

А во время сессии случается разное.

В сессию вместо занятий все сидят по своим классам и готовятся, то есть народ скучает.

Если кто войдет в класс со стороны, он рискует нарваться.

У «общехимиков» придумали вот что: если к ним входил посторонний, то по команде он хватался, поворачивался попкой кверху, а потом с него снимали штаны, а команда была: «Просветить оптику!»

Идет сессия. Стукал входит после перерыва какой-то не такой. Смотрит в пол, голова опущена.

— Стукал, что случилось?

— Да-а...

Выясняется: Стукала только что просветили. Весь класс тут же входит в раж.

Немедленно составляется план: посылаюсь я в качестве живца, и когда те на меня набрасываются, влетают все наши и переворачивают этих уродцев вверх жопками.

Так и сделали. Не успели они на меня наброситься, как дверь с шумом открылась и в нее ввалился весь наш класс, после чего всем местным немедленно оголили ягодички, после чего еще сверху похлопали.

А вот мы опять на севере на практике на подводных лодках. Нам рассказывают страшные истории.

Во время войны существовали союзнические конвои. Те конвои доводили транспорты до Мурманска, а потом отдыхали. Для отдыха им предоставлялись в пользование местные девушки. Потом конвои кончились и девушки стали не нужны. Их погрузили на баржу, вывели ту баржу в море и там торпедировали.

С логикой у меня всегда было все в полном порядке. Я позволил себе усомниться: а что, просто так расстрелять было нельзя, обязательно с танцами?

Мне говорили, что я ничего не понимаю.

Мы сидели в казарме и готовились к выходу в море на атомной подводной лодке. Все немножко трусили, вот и рассказывали всякие ужасы.

Первое, что мы спросили на лодке в море, так это: а где же мы будем спать?

— Спать? Спать?! На лодке вообще не спят! Это ж море!

Спали мы где придется. Только кто-то из морячков встал со своей койки, тут же на нее заваливались мы, приходил хозяин, и ему достаточно было до нас легко дотронуться — мы сейчас же просыпались и уступали ему место.

И так десять суток.

А по тревогам нас гоняли на ЦДП — центральный дозиметрический пост, где сидел спокойный и всегда выспавшийся начхим по имени Пакарклис.

Он немедленно начинал нам чего-нибудь объяснять. Его тут звали «Папа Карло».

— А-ва-рий-ная тре-вога! Поступление воды в третий! Начальника медслужбы в третий! Носилки в третий! Всплывать на глубину семнадцать метров!

Лодка всплывает. Вырвало клапан по забортовой воде! На двухсотметровой глубине он летал по трюму, как снаряд. Задел морячка. Не сильно.

Всплыли, устранили, погрузились, пошли, морячка оттащили.

Мы подружились с мичманом Кузьмичем. Он был из БЧ-4. Это связь. Мичман по связи. Бедняга в море ни разу даже не прилег.

Вернее, он пытался, но его тут же поднимали. Входил матрос и осторожненько его будил.

Кузьмич — огромный, сильный (мастер спорта по ядру), причитал, переваливаясь с бока на бок.

Мы чаще всего спали на его койке.

Он был очень веселым. Разговаривал смешным, но очень точным языком. Мы такое еще не слышали.

Он знал массу анекдотов и, стоя дежурным по казарме, нас веселил — заходил потрепаться.

В казарме мы жили в отдельном кубрике вместе с курсантами из Севастополя. Нас трое, их человек десять. Сначала чуть не подрались. Не помню из-за чего, но начали севастопольцы.

Мы очень удивились.

На этом экипаже нас поселил капитан первого ранга Руденко, увековеченный мной в рассказе «Мафия». «Отгадай загадку: сапоги несут канадку», — так про него говорили.

Мичман Кузьмич его сильно уважал и отказывался на его счет шутить.

Капитан первого ранга Руденко действительно был маленького роста, нервный, быстрый.

Как-то на корабле я оказался рядом с каютой командира. Дверь была не закрыта. В щель был виден Руденко. Он стоял на четвереньках на кровати и шептал: «Саня! Саня!» — а потом он тихонько завыл. Страшнее я ничего не слышал. Ноги меня тут же унесли подальше от этого места.

Руденко был детдомовец и любил море.

Так можно о нем написать.

Потом он попадет в автомобильную аварию и до конца жизни будет хромать.

Но и хромой, с палочкой, он будет приезжать с инспекцией и будет проверять готовность корабля к автономному плаванию.

Он проверял нашу готовность к первой автономке. «Молодцы!» — говорил он, и лицо его сияло.

Увидев меня в проходе второго отсека, он сказал: «А, и ты здесь?»

Я часто вспоминаю ту практику на лодках и то, как мы грузили вместе с экипажем продук-

ты, и командира, который грузил их наравне со всеми — стоял в цепочке и передавал вниз ящики, — и то, как помощник командира подарил нам консервы, и как мы их потом ели, и как наш Лобыч в море сломал зуб, вгрызаясь в сушеную воблу, и то, как нам командующий сделал замечание за поднятый воротник бушлата в проливной дождь.

После моря мы сутками спали и не могли выспаться, а потом ели наперегонки мясо, и я в том соревновании победил, потому что был небольшой, но прожорливый.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Курсанты до третьего курса носят бескозырки.

Концы ленточек закусываются зубами. Это чтоб ветер с головы не сорвал. На четвертом курсе выдают фуражку.

— Что ты на меня смотришь?

— Ничего!

Мы с Сашей Игошиным разговариваем. Он у нас старшина класса, а я — рядовой этого класса. Мы примерно на втором курсе и у нас стычка в строю.

Саша Игошин — здоровый парень, может быть даже здоровенный.

Наши командиры ставят нам старшинами таких вот парней, чтоб их нездоровые, а может и не здоровенные, не смогли невзначай опрокинуть.

Мы с Сашей частенько будем ссориться, но до драки дело не дойдет.

До драки у нас со Степочкиным дело дойдем. Он меня толкнет в грудь, и как только я к нему двинусь, имея в глазах змею, он мне сразу скажет: «Папуля! Не подходи! Не подходи, говорю!» — и Маратик между нами в тот момент парту вдвинет.

Маратик нас разнял.

Хороший парень. Я его на севере потом встретил. Я уже перевелся в Питер и приехал на се-

вер, писать новые инструкции, а они там все подумали, что я — скрытая инспекция, что ли, уж очень меня обхаживали тамошние командиры и начальники.

Флот уже давно привык, что от центральных органов ничего хорошего не жди, могут быть любые провокации, а я встретил там Маратика, и он меня к себе заволок.

Саша Игошин служил в той же базе, и я попал к нему в лапы несколько позже.

— Саня! — сказал мне тогда Маратик. — Помоги! Не могу отсюда перевестись.

У Маратика жена и двое детей.

И я помог. Звонил, надоедал Коля Храмову, что на выпуск младше.

Коля тогда в Москве сидел и мог сделать перевод.

Я звонил ему по поводу Маратика и Саши Игошина.

Саша попал служить на противоположную сторону, в губу Андреева, на хранилище. Там хранились отработанные урановые стержни с реакторов.

И спирта там было море разлитое. Саша мог выпить поллитра просто так, чем меня поразил.

Он мне рассказывал, что кадровики в Москве за перевод отсюда с него потребовали сорок литров спирта и пять тысяч рублей — тогда у нас зарплата была только пятьсот полновесных.

Суки!

У Саши Игошина, когда он мне все это рассказывал, были горловые спазмы, голос дрожал.

Так что по нему и по Маратику я Коле Храмову жить не давал. Он потом позвонил и сказал: «Все! Сделал! Маратик поехал в «Желтые воды», а Игошин — в Калининград!»

В «Желтые» так в «Желтые», спасибо тебе, Коля, выручил ребят.

А пока мы ссоримся и мечтаем друг дружку хорошенько вздуть.

— Ну? Что смотришь?

— Ничего!

Это мы между собой разговариваем.

Со временем многое меняется, и ты через много лет бросаешься к человеку, с которым вы столько не виделись: «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — говорит он тебе и отворачивается.

А бывает, и наоборот — никак друг от друга не отстанете, все вспоминаете, вспоминаете.

Меня в Питер перевел Гешка Родин.

Гешка у нас ученый и потому раньше всех с флота оказался в институте, а я приехал в Питер просто так. Приехал отдавать одно свое изобретение насчет того, как под водой ходить, чтоб углекислого газа совсем в лодке не было.

— Саня, а хочешь к нам? — спросил меня Гена.

— Куда это «к вам»?

— К нам, в институт.

И тут я поведал Генке, что он, наверное, что-то не помнит, что я — сирота причем, флотская. И меня никто нигде не ждет, и переводиться к ним я буду лет двести.

Перевелся я к ним через пять лет после того разговора, в его отделе оказались дивные люди, такие как Пероцкий, Александров, Новиков, Шляхтин, которые звонили, звонили и вот перевели, и как только я перевелся, то сразу же стал надоедать Коле Храмому.

— Да переведу я их! Переведу! — говорил он мне насчет Маратика и Саши Игошина.

И перевел ведь, самое смешное.

— Караул!.. Равняйсь!.. Смирно!..

Это мы в караул заступаем. Все. Почти весь класс.

Отличники и троечники, будущие ученые и дуралеи.

К дуралеям я, прежде всего, относил себя.

Из-за глупостей, конечно.

Ну, разве не глупость всюду вылезать вперед?

Например, я как-то встал на пути автобуса, когда он собирался на полной скорости проехать мимо нашей толпы, вывалившей в увольнение. Просто не хотел автобус до верху набиваться курсантами. Я встал, он — по тормозам. В общем, мы уехали.

Или вот еще: мы со Степочкиным наперегонки в противогазе целый час лопатами перекидывали песок из кучи в кучу.

Проверялся новый изолирующий противогаз. Вызвались добровольцы, и этими добровольцами оказались, конечно же, я и Степочкин — остальные были, вроде, более нормальными.

Мы не просто целый час страдали от жуткой жары, мы страдали с резиной на роже, когда пот в глаза и в ноздри, а в глотку горячий кислород.

У него металлический привкус и он, сволочь, сушит гортань.

— Пост номер один! Под охраной состоит знамя части!

Это я на первый пост заступаю. Перед заступлением мы сдаем друг другу пост.

Потом доклад разводящему о том, что пост принят, и на два часа ты остаешься один с ночными шорохами в коридорах и со знаменем.

Мы заступали в караул на втором курсе.

А потом мы заступали в него на третьем курсе, и на четвертом курсе, но тогда я уже был или начальником караула, или разводящим.

Спали в карауле, не раздеваясь, на жестких топчанах, которые почему-то назывались «полумягкими».

Засыпали под всякие истории о нападениях на пост да о том, как кто-то из своих же расстрелял когда-то половину караула.

За два часа невозможно выспаться. Особенно, если тебе восемнадцать лет.

Это в двадцать пять можно за два часа выспаться, и то если скажешь себе: «Через два часа ты уже проснешься и встанешь абсолютно свежим».

А когда ночью ведешь смену на водохранилище, то идти надо через маслиновую рощу, по тропе, и рука сама снимает автомат с предохранителя, и каждая ветка по лицу кажется пролетающей летучей мышью, а каждый шорох отдаётся холодом в груди.

Я до сих пор могу составить план отражения нападения на пост, и до сих пор, когда иду по улице, смотрю на крыши домов и думаю: «Если здесь разместить пулемет, можно будет простреливать целый квартал».

А еще мы учились быстро сдергивать автомат с плеча, подбрасывать его в воздух и налету передергивать затвор и — дальше только очередь, не задумываясь.

- Стой! Кто идет!
- Разводящий со сменой!
- Разводящий ко мне, остальные на месте!

Подходить к посту имеет право только разводящий. Если что-то не понравилось, можно всех положить в грязь.

Подготовка к заступлению в суточный наряд начиналась в 15 часов. Один час можно было

поспать в койке, потом глажка формы одежды (идиотское словосочетание), изучение статей устава, построение суточного наряда в роте и осмотр старшиной роты, потом построение на факультете, у рубки дежурного по факультету, и осмотр заступающего наряда заступающим дежурным, где он может остановиться напротив тебя и сказать: «Доложите свои обязанности!» — потом все следуют на плац, где тоже строятся для училищного развода.

Развод принимает дежурный по училищу, для чего: «Первая шеренга! Два шага вперед... вторая, шаг вперед... Шаго-ом... Марш!.. Кру-гом!..» — потом дежурный по училищу проходит мимо и знакомится с нарядом. При этом он смотрит в окаменевшие лица, пытаясь запомнить тех, с кем заступает на сутки. Иногда он может проверить, как ты знаешь свои обязанности — это улучшает дисциплину — потом он проверяет караул (на разводе стоит и заступающий караул из курсантов, у кадровой роты другой караул), потом: «Первая и вторая шеренга!.. Кру-гом!.. На свои места... Шаго-ом!.. Марш!.. (Раз! Два!)»

И обе шеренги встают на свои места. По команде они поворачиваются. Потом команда «смирно» и: «Начальник караула ко мне!» — начальник караула подходит и представляется дежурному. Тут ему показывается секретное слово «пароль» и секретное слово «отзыв», после чего: «Начальник караула, встать в строй!» — потом строй по еще одной команде поворачивает и под барабан проходит мимо дежурного по

училищу и его помощника торжественным маршем, во время которого они отдают строю честь.

В промежутках мы читали. В основном Джека Лондона. Его полное собрание сочинений имелось в училищной библиотеке.

Я прочитал все. Потом до меня дошло, что Джерри-островитянин — это облысевший от жары Белый Клык, перенесенный воображением автора в южные широты, но это потом, а поначалу мне все очень нравилось.

Особенно «Морской волк».

Хотел бы я посмотреть на того, кому в те времена не нравился «Морской волк».

А там, на севере, весь в метели и с мороза, я приходил в маленький книжный магазин, размещенный под лестницей в Дофе, и спрашивал у тетки, напоминающей сложением сидячий холодильник «Орск», есть ли что-либо почитать, на что она неизменно отвечала: «В большом выборе политическая литература».

Именно тогда я и приобрел девять томов Виссариона Григорьевича Белинского и прочитал их все. Они ходили со мной в автономки, и я их подсовывал друзьям, опухающим от информационного голода.

Потом я купил четырехтомник писем прогрессивного деятеля французской революции Гракха Бабефа, который писал их из тюрьмы на волю вплоть до самой гильотины, которую ему устроила все та же революция.

Замечательные, надо сказать, письма.

Потом я прочитал письма Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстова.

Собрания сочинений этих потрясающих писателей распределял политотдел, а письма никому не были нужны и потому поступали в свободную продажу — где я их и находил.

А позже мне случилось прочитать всего Достоевского, уже без писем, и я отметил недоделанность многих его произведений, суетливость и неаккуратность, после чего наступила очередь Чехова, Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина и Гоголя — у этих я отметил доделанность.

Я прочитал Грина, Паустовского, Пришвина, Байрона, Маяковского.

Бальзака, Виктора Гюго, Золя, Шолохова и Виталия Бианки.

Но все это потом, а в училище, кроме Джека Лондона, была прочитана повесть Крона про что-то там внутри на корабле и на суше.

По ней проводилась читательская конференция, и наш командир Раенко Сан Саныч говорил правильные слова целыми абзацами.

Я тоже говорил. Мне поручили осветить образ женщины, которая допустила-таки к своему телу моряка. Я его осветил. Я сказал что-то такое, что немедленно вызвало гомерический смех у тех идиотов, которые вообще ничего никогда не читали.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Иногда мне кажется, что я вижу в толпе знакомое лицо. Учились вместе?

Иногда не могу вспомнить лица однокашников. Лица всплывают и тут же растворяются в памяти.

А стены в нашем классе, кажется, были выкрашены шаровой краской. Это серая краска. Она маскирует боевые корабли на фоне морских волн.

На первых подводных лодках все внутренние помещения были выкрашены ей же — повеситься можно.

Потом начали красить их желтой краской. «Елоу сабмарин» — желтая субмарина. Долгое время не понимал, почему она «желтая». Попал на нее впервые и понял: она желтая внутри.

— Рота, подъем! Выйти, построиться в баню!

Мы командуем это первокурсникам. Темно, глубокая осень, холодно. Построение в бушлатах в колонну по три. Первым — третий взвод. Я — командир отделения в третьем взводе.

У первокурсников баня с шести до семи утра. Баня раз в неделю. Все по графику. Там же смена белья. Назначенные из курсантов баталеры собирают трусы и тельняшки, чтоб сдать их в стирку. После первой же стирки тебе выдают чистое, но не твое.

Вечером, в самое роскошное время перед сном, моются только верхние курсы, например, четвертый и пятый.

Тугие струи бьют в тела. Я моюсь вместе с Олежкой Масловым. Он на курс старше меня, и в нашей роте он замкомвзвода у дозиметристов.

Олег — сильный парень. В борьбе руками ему нет равных. Он статен, задирист.

— Потри спину!

Я тру ему спину. У него красивое тело, и я им невольно люблюсь. Он это знает.

В училище существует культ тела.

Олег попадет служить в Западную Лицу, в службу радиационной безопасности.

Как-то он приехал к нам в базу набираться опыта, что ли.

Он стоял и разговаривал с кем-то, а я увидел его сзади и с криком: «Маслов!» с разбега заключил его в объятия. На лице его возникла сначала растерянность, потом некоторое подобие ярости за то, что с ним эта растерянность приключилась, потом он обернулся и расплылся в улыбке: «Сашка!»

Мы делились с ним едой. В училище это важно. Если делишься едой, значит друг. Он мог принести с увольнения палку колбасы и скормить ее всю мне, сонному, а я ему приносил что-то вкусненькое из дома.

Вместе мы с ним снимали женщин. Это можно было так назвать. К третьему курсу я вдруг обнаружил, что не знаю как к ним подходить, не говоря уже о том, чтоб их поцеловать.

Выяснилось, что я вообще не умею целоваться.

Олег сперва изображал, что он в этом деле большой дока, а потом выяснилось, что и он, в общем-то, не умеет.

Мы учились целоваться на собственных руках.

— Смотри как надо, — говорил Олежка и делал своей руке засос.

Потом мы познакомились с девушками. Все получили по одной девушке, и мне досталась Оля — вот ведь незадача. Мы справляли с ними Новый Год, сидели у них, потом даже пытались с ними спать, но ничего не получалось, много нас было в одной комнате.

Потом нас все-таки девчонки растащили по разным кроватям, но все было очень целомудренно, Оля гладила меня по волосам.

Интересно, что там было гладить — волос на голове почти не было, только короткая курсантская стрижка.

Вот у Оли волосы были красивые, но я до них так и не дотронулся, дурак наверное был.

Помню, как мы потом обсуждали девушек, и Олег позволил себе какое-то довольно вольное выражение. Меня передернуло, он заметил и больше никогда так не говорил.

Хотя он попробовал сказать, что, мол, они нам на пару раз и не стоит так переживать, но тут я и вовсе окаменел и сказал, что пусть хоть на двадцать минут, все равно, при мне так не надо говорить.

— Саня, ты чего? — сказал он тогда.

— Ничего, — сказал я и отвернулся.
Больше мы это не затрагивали.

А с девушками гуляли, гуляли, гуляли.
Однажды шли по дороге, провожали их вторым — я, Олег и Коля Лопотюк, и тут навстречу толпа.

С железными прутами.
Мы повернули и пошли назад — их было больше и потом — с нами дамы.

Они сказали Олегу в спину: «Иди, иди вперед, как хуй».

Олежка хлопнул фуражку оземь, повернулся и побежал на них.

Я скомандовал девицам: «Бежим!» — и мы побежали.

Когда отбежали метров на двести, я вернулся к Олегу — тот уже схватил парочку человек и таскал их перед собой.

Прутья они в ход так и не пустили, подоспели пятикурсники.

Олег потом мне бросил: «Что, струсил?» — «Нет», — сказал я.

Просто я хотел увести девчонок подальше.

— Заряжай!

Разводящий командует, смена заряжает.

— Оружие заряжено, поставлено на предохранитель!

— За мной, на пост шагом марш!

Смена уходит в ночь. Когда разводящий приведет смену с поста, он подведет ее к пуле улавливателю.

— Разряжай!

Надо отсоединить рожок, перехватить его и ствол в левую руку, а правую освободить.

— Оружие к осмотру!

Правой рукой следует оттянуть затвор, направляя ствол в щит, чтоб разводящий увидел — в патроннике нет патрона. Потом он скажет: «Есть!» — и затвор можно будет отпустить, сделав контрольный спуск. И так из раза в раз.

До сих пор слышу лязг затвора.

— Я встречал твою Олю, — скажет мне Олег через много лет на севере. — Она красивая, ноги длинные, даже не узнал, а она бросилась ко мне.

Я тоже встречался с Олей. Я обнимал ее, и нам было жарко. Она написала мне письмо на север, в котором говорилось какой я замечательный.

— Ты как, Саня? — спросит меня Олежка при встрече.

— Я? Нормально.

Мы встретимся с ним в Северодвинске, куда я приду на захоронение, а он приедет с какой-то комиссией.

Под словом «захоронение» понимается лодка, конечно, мы привели ее на распил и гуляли, гуляли, гуляли в Северодвинске.

Олег все хотел, чтоб я снял девушку, для чего таскал меня в ресторан. Мы там даже чуть не подрались с местной знаменитостью — небольшим, но крепким и печальным каратистом.

Олег прижал его прямо в ресторане, потому что он мешал ему снимать для меня девушку.

После я говорил с этим каратистом. Он был из диверсантов и сказал, что может плыть в воде сутками.

Я потом тоже так научился. Плыть сутками просто. Надо думать о чем-нибудь.

— Ты как, Саня? — все спрашивал меня Олег, а я отвечал, что хорошо, что нашел в здешней библиотеке Ахматову и читаю ее, читаю.

— Зачем тебе Ахматова, она же мертвая.

С Олегом не поспоришь.

Я больше его не встречал.

Говорили, что он попал под уголовное дело о расхищении народного добра.

Олежка в принципе не мог ничего расхитить. Это не его.

Потом говорили, что он все еще на севере, все еще служит.

— Как ты, Саня?

— Я? Нормально.

Дождь по щекам, мелкие, холодные уколы.
Мы на плацу, идет дождь.

Дождь в Баку в феврале может идти сутками. В марте будут сильные ветры.

На младшем курсе я пробыл два года. Первый год — командиром отделения, второй — замкомандира взвода.

А старшиной роты был Саша Пыхарев — одноклассник Олега Маслова, четверокурсник, только он и в армии успел послужить, кажется, год с небольшим. По тем временам значительный срок.

Пыхарев дрессировал первокурсников по всем правилам. Он свято верил в успех.

В роте был и командир роты, конечно. Звали его Паровенко, но настоящим повелителем первокурсников был он, Пыхарев.

— Ро-та-аа!!! Не слышу ногу!!! Выше ногу!!!

Бедняги молотили по асфальту так, что был слышен гул конницы великого командарма Буденного.

— Пес-ню-ю... запе-вай!!!

— Расцвела сирень в моем садочке, ты пришла в сиреновом платочке...

На вечерней прогулке младшие курсы, например первый, пели песни, например «Варяга».

А старшие курсы, вроде третьего и четвертого, пели вот такое, если вообще пели.

Вечерняя прогулка — это обязательно. Считалось, что она помогает заснуть. По-моему, мы и так спали как убитые.

Был еще вечерний чай — что-то очень похожее на булочку и чай в алюминиевом чайнике с некоторым количеством сахара, помогающим забыть вкус хлорированной воды, из которой этот чай и заделали.

На первом курсе был еще такой наряд как «дежурное подразделение».

Заступали в него обычно целым классом. Подчинялось оно дежурному по училищу, и самые вредные дежурные устраивали этому подразделению учебную тревогу ночью, а самые невинные — до отбоя.

Дежурное подразделение делило ночь на часы и по два человека обходило территорию училища. Считалось, что ночные вахты нас закаляют.

Еще бы. Ночью прохладно до дрожи.

Ночью деревья и тени выглядели сказочными, длинными, и свет от фонарей метался, если те фонари раскачивались на ветру. Они раскачивались и поскрипывали. От этого скрипа тревожно на душе.

— Училище осмотрено, замечаний нет!

Вот такой доклад дежурному всякий раз после обхода.

Небольшие юноши в робах, восемнадцати лет, обходят училище дозором.

Рубка дежурного по училищу помещалась на первом этаже старого учебного корпуса — за стек-

лом, перед ней колонны, высоченные потолки, на полу мозаикой выложена роза ветров, а напротив — дверь.

Утром в нее входит начальник училища, о чем известно, все отслеживается, все на местах.

Утром дверь открывается — «Училище! Смирно!» — и пошел дежурный по училищу деревянными ногами навстречу адмиралу, доклад, потом: «Вольно!» — и неторопливые разговоры адмирала и дежурного в уважительном тоне.

А Володя Коровенок, пьяненький, вышел из окна третьего этажа прямо на асфальт. Но это на третьем курсе.

Конечно, можно было выйти с другой стороны — у нас в казарме окна и на север, и на юг — но с южной под окнами рос шиповник, о чем Володя Коровенок в любом состоянии помнил, так что вышел он с севера и сейчас же на асфальт.

Потом жопой очень сложно выруливал, до полугода, наверное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

Штаны б/у, фланель под ремень. Есть форма парадная, а есть повседневная.

Чаще всего мы ходим в робе: негрубого брезента брюки и рубаха навыпуск.

Сверху — воротничок, гюйс и тельняшка, конечно. Мы ее называем «тельник».

Он бывает и зимний, с начесом.

Начес к телу. Это тепло.

— Поздравляю вас с Днем Нашего Поз-зор-ра!

Это мы про праздник, 23 февраля, День Советской Армии и Военно-Морского флота.

Нам на первом курсе преподавали историю военно-морского искусства. Герой Советского Союза летчик Кирин, обгоревший лицом и руками, рассказывал нам про разные виды искусства, в том числе и военно-морского.

К примеру, он говорил, что во время войны другой герой, подводник Магомед Гаджиев, поступал с вражескими транспортами следующим образом: он всплывал среди кучи кораблей в надводное положение и расстреливал их из артиллерийской пушки. Пару раз это ему сходило с рук, потому что противник от такой наглости совершенно хуел, а потом его потопили, потому что перестали столь сильно переживать от его внезапного присутствия.

Истина: если ты подводная лодка, то и веди себя как подводная лодка, а не как неудачный надводный корабль, то есть не стреляй из пушки. Твое дело подкрасться и взорвать торпедой, а потом желательно свалить потихонечку в тридцать три секунды и остаться целым. В этом и состоит героизм подводника — в отсутствии всякого героизма. Под водой по мелочам не рискуют.

А еще он нам рассказывал о том, как 23 февраля одна тысяча девятьсот восемнадцатого года, регулярные немецкие части гнали перед собой деморализованное русское воинство, отчасти уже большевистское, со скоростью двести километров в сутки, и все это происходило именно 23 февраля, а остановили их только под Псковом уже 25 февраля некие ополченцы, не ведающие пока, что они и есть Красная Армия, уже непобедимая.

Так что 23-его мы празднуем непонятно что, может быть, скорость того самого перемещения — двести километров за сутки.

Вот тогда мы и стали всех поздравлять с Днем Нашего Позора.

Полковник Кирин нам рассказал много чего. Он рассказывал нам про войну с белофиннами.

И про Маннергейма.

И про то, как он приспособливал гранитные скалы под непроходимую линию, и про то, что этот русский генерал, а потом и финский мар-

шал, учился в Академии Российского Генерального штаба и там же преподавал, и о том, как он не хотел воевать с русским солдатом, и о том, как он расправился у себя с революцией, и о том, как он сохранил свой народ, лавируя между Гитлером и Сталиным, и о том, как он сразу же, как только представилась такая возможность, повернул штыки и выступил на стороне России.

Финны выбивали в наступающей Красной Армии прежде всего офицеров.

Они стреляли в чугунные полевые кухни, что на морозе немедленно разлетались на куски.

Они прятали обезболивающее в трусах, чтоб оно сохраняло свои полезные свойства, они владели еще кучей и кучей всяких мелких военных премудростей, с помощью которых можно уничтожать вражеские армии в сорокоградусные морозы.

А Малую Землю, ту, что в районе Новороссийска, прославленную в одноименной книге, обгоревший герой и летчик Кирин осмеливался в те времена называть «неудачной десантной операцией», за которую надо ставить двойку по тактике.

— Задача морского десанта: захватить плацдарм на побережье и удерживать его до подхода основных сил. И это должно быть сделано молниеносно, а не получилось с этой самой молниеносностью, так отступайте, и нечего окапываться под артиллерийским огнем, когда тебя полива-

ют со всех сторон, а ты только в воронки от бомб да от снарядов перебегаешь, чтоб на клочки не разнесло. Там же еще и авиация тебя сверху долбаёт!

Полковник Кирин знал о чем говорил. Его подбили ровно над этим самым местом и он, догорая, падал в море, а потом плыл, загребая остатками обгорелых рук, несколько километров, а на Малую Землю в это время шли и шли катера — туда с боеприпасами, обратно с ранеными.

Они шли, а их били, били, били — и с воздуха, и с берега.

Та-та-та-та-та! — строчили пулеметы, домолачивая то, что оставили в живых бомбы да снаряды.

А потом катерами подвозили еще и еще, а их опять молотили, сбрасывали в море. Немцы расстреливали их, как в тире.

Катерники рассказывали, как приходили забирать раненых, совершенно не ведая о том, дойдут ли они назад с ними или не дойдут.

Они рассказывали о полковнике Брежнев, который бежал от того кошмара на катер, бежал обезумевший, по людям, по раненым, по мертвым, по еще живым, и какой-то перемотанный бинтами матрос дал ему, бегущему мимо, в ухо, и полковник Брежнев полетел через леера в воду. Это привело его в чувство.

— Как ты, Саня?

— Нормально.

Память часто достает из своих закутков вот такие обрывки разговоров.

Кажется, по любому поводу «нормально» говорил наш командир Раенко.

— Смирнов! Вы что, спите на занятиях?

— Никак нет! Не сплю!

Олегу Смирнову не везло. Он спал на лекциях, и его ловили. Я сидел рядом, он у меня списывал.

Он вообще считал, что дружба — это когда списывают.

— Покровский! Что придумал Александр Македонский?

— Он придумал македонскую фалангу.

Фаланга — это строй. До Македонского напали ордой.

Он придумал строй и завоевал полмира.

Жаль, что меня не спросили про зулусского короля Чаку.

Он придумал асегай — копьё с лезвием в сорок пять сантиметров.

Я любил тактику.

А строевые я терпеть не мог. Наверное, среди нас тогда трудно было найти человека, который бы их обожал.

На втором курсе мы должны были участвовать в московском параде на Красной площади 7 ноября.

Тренировать нас начали еще летом. Мы шагали на плацу месяца три.

— На-кrrrra-a-ул!.. К-но-ге!.. На-кrrrra-a-ул!.. — и так часами.

Шесть часов в день строевые занятия под барабан — сто двадцать ударов в минуту. Пятьдесят минут ходьбы, десять перекура — спина в соли.

— Раз!!! Два-а!.. Раз!!! Два-а!.. — это мы ножку поднимаем и держим на весу. По счету «два» мы ее опускаем на землю. На «раз» — опять вздергиваем.

Учимся настоящему строевому шагу, для чего нам из Москвы, из роты почетного караула прислали консультантов — взвод полковников.

До этого мы ходили ненастоящим строевым, теперь все будет по-другому.

Мы маршируем с карабинами. Его надо держать на согнутой в локте левой руке. Он тяжелее автомата грамм на двести. Через пятьдесят минут рука не своя.

А после шести часов мы ее в роте под краном в теплой воде вымачиваем.

У меня до сих пор на левой руке сухожилия толще.

Мне рассказывали, что перед Великой Отечественной солдат так задолбали шагистикой, что они встретили известие о начале войны криками «ура».

Это потом я оценил строевую подготовку.

Когда пришел лейтенантом служить.

Сразу стало понятно, что матроса можно воспитать в духе нежной стойкости только строевыми.

На его невнятное хамство в сторону меня как молодого лейтенанта следовало:

— Назначаю вам занятие. Тема занятия: одиночная строевая подготовка. Строевые приемы на месте и в движении. Цель занятия: совершенствование строевой выучки. Место: плац. Участник: вы. Руководитель: я.

И началось.

Совершенствование строевой подготовки.

Я бы даже сказал: самозабвенное.

Матросы самопроизвольно дергались.

Особенно если я обращался к нему на «вы» и называл их: «Товарищ матрос!»

Это потому что рефлекс есть у каждого. Надо только найти к ним дорожку.

Я вел его на плац — снег, мороз в рожу. Ему холодно, мне тоже. Ничего, сейчас согремся.

Как только я вступил на плац, я пошел по нему строевым — «товарищ матрос» вздрогнул в первый раз. Теперь он будет часто вздрагивать.

Через пять минут, при разхлябанном, с ухмылочкой, начале, я прекращал занятие со словами:

— Вы не умеете поднимать ногу. Строевой шаг красив только при правильном положении ноги. Показываю. Раз! — я задрал собственную ногу, прямую как палка, и через минуту медленно ее опустил. — Два! Раз! Два! Попробуем еще раз. Спина прямая, грудь приподнята, живот втянут, пошла ножка — Раз! Два!

Через час самый последний раздолбай ходил у меня, как заведенный. И никаких неуставных взаимоотношений. Все чудесно и тепло. Даже, когда мороз в рожу.

А потом несколько дней, когда я подходил к нему, он невольно выпрямлялся и поводил плечами.

Рефлексы, кафедральная мама, величайшее, знаете ли, дело.

А в московском параде я так и не участвовал. Я попал в госпиталь с какой-то ерундой, и меня заменили.

Все на месяц укатали в Москву на тренировки, а я ходил в библиотеку и чинил там книги вместе с Юриком Колесниковым, под руководством библиотекарки Сары.

Его тоже не взяли на парад. В отношении строевой подготовки он был абсолютно и навсегда безнадежен.

Через двадцать лет я встретил Юрика. Мы с ним вспоминали, вспоминали и даже поспорили о политике, потом я уехал на свой Север и написал Юрке письмо.

Он мне ответил: «Шурик, здравствуй! Получил твое письмо от 08.04.91 года. Уже и не чаял, что ты мне ответишь, и очень переживал по этому поводу (обидел человека со своей дурацкой политикой).

Но ты, кажется, на дураков не обижаешься, и это вселяет определенный оптимизм. Еще раз тебя прошу, не обижайся, и хотя ты меня очень часто бесил и продолжаешь иногда выводить из равновесия, но с курсантских лет я очень люблю тебя, Шурик. К черту политику! Хочешь, я расскажу тебе историю?

Итак, история для Шурика: мы заканчиваем четвертый курс. Через пару недель предстоит отъезд на практику на Северный флот. Весна, начало мая, жизнь так захватывающе интересна, и мы в увольнении. Мы идем вместе с Шуриком Покровским. 142-й автобус поломался и мы пересели на «Электроточе» на какой-то «алабаш», который довез нас до центра города, возвращаемся к вокзалу. Я очень уважаю Шурика за те присущие ему качества, которых лишен сам.

У него атлетическая фигура. «Склепка» на перекладине, мой камень преткновения, для него ерунда. У Шурика блестящие математические способности. Электротехника, РЭЛ и ВТ и даже физическая химия даются ему без видимого напряжения. Вдобавок ко всему Шурик — пре-

красный собеседник. У него чисто французское остроумие, блестящее, хотя немного поверхностное. Шурик — трезвенник. Абсолютный. Человек без недостатков? Ну, зачем же, недостатки есть. Самовлюбленность, скуповат на похвалу, может не дослушать собеседника, внезапно потеряв к нему интерес. И позерство. Его так много, что оно, пожалуй, портит общую благостную картину. Все эти качества в их сочетании не привлекают к нему людей, а скорее отталкивают их от него.

На первом курсе мы бегали с ним по пампам, и Шурик сразу взял на себя функции тренера. Но мне с ним было тяжело, ему со мной — скучновато, и пробежки прекратились. На втором курсе мы вместе работали в библиотеке у Сары во время отъезда роты на московский парад. Хорошо работали, весело, Сара нами нахвалиться не могла. Но работа закончилась, а итоги ее для нас были разные. Я почему-то получил денежную премию (5 рублей), всем остальным объявили благодарность. Шурик не то чтобы смотрел на меня волком, он на меня вообще никак не смотрел. Дня через два ко мне подошла Сара: «Саша Покровский отворачивается от меня, проходит и не здоровается. Очень неловко получилось, но я не виновата. Я всех подавала на денежную премию. Ты как-нибудь скажи ему...»

Она не виновата, я тоже ни при чем, а Саша Покровский — «фрукт». Говорить я никому ничего не стал. А пятерку мы проели в «Океане» с Литвиновым и Матыцыным. Но это уже да-

легкое прошлое нашей истории. Идем с Шуриком по улице, болтаем о том, о сем. Впереди идет девушка, изящная, тонкая, в батистовой безрукавке и в огромных размеров цветастой ситцевой юбке. «Хорошая юбка, — говорит Шурик, — ею можно занавесить окно на время полового акта... а содержанием человеческой жизни может стать обыкновенная ... жопа... ну, например то, как она движется под платьем... Тебе это не приходило в голову?» — Не приходило, как же... Но подобные вещи рассматриваются мною пока еще довольно отвлеченно, теоретически, я еще не ощутил в себе, в достаточной степени, их завинчивающее действие. Все это придет позднее. Шурик смотрит на меня вопросительно, но мне нечего сказать в ответ на это его эпохальное открытие, и я помалкиваю. Мы подошли к вокзалу, дальше Шурику прямо, а мне налево».

Черт! А вот я эту историю с награждением пятью рублями совсем не помню.

Но то, что я могу не замечать обидевшего меня человека — это да, это правда.

Годами могу не замечать, а могу и вообще вычеркнуть из списков. Это мы умеем.

Странная способность — смотреть сквозь человека — и я этой способностью обладаю.

Бедняга Юрик в те года не знал, что я способен был «послать» даже родного папу. Как-то, в сердцах, я пообещал ему в своих мыслях, что никогда не приду на его могилу.

Это обещание я выполнил, не пришел. Он умер под Лугой. Зимой возился с колодцем на даче, провалился в него и простудил почки.

Скорая до больницы не довезла.

А тот парад я видел по телевизору. Москва. Холодно. Ноябрь. Мокрый снег.

Министр Обороны читает речь после команды: «Смирно!»

Он читает минут пятьдесят. За это время несколько человек в строю могут упасть в обморок от перенапряжения. Обычно первым с грохотом падает карабин, потом — курносый обладатель этого карабина — плашмя, курносостью своей на асфальт, после чего его оттаскивают — тянут за ноги и на себя, рожа по полу — и его место занимает человек из следующей шеренги.

На заднем плане дежурили машины скорой помощи. Курсантов носили к ним, как поленья.

Иногда падали целыми шеренгами. Обморок — заразительная вещь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТЬ

На четвертом курсе к нам пришел Радинский.

А Раенко от нас ушел в Страну Великой Охоты — то есть перевелся на кафедру морской практики. У нас это называлось «через портянки в науку».

Сан Саныч сразу же после своего перевода встретил на пути в учебный корпус Колю Видасова, которого он, будучи ротным командиром, на принятие строевой стойки дрессировал постоянно — Коля был у нас старшиной класса общехимиков, а потом он же у нас был и старшиной роты.

— Видасов!

— Я! — рявкнул Коля. У Коли рефлексов на Раенко было до такой-то матери, и он отработал это обращение к себе бывшего командира четким поворотом направо и замиранием с усердием в глазах и в фигуре.

— А я ведь теперь, Видасов, красная профессура.

На том они и расстались. Раенко, с этих пор во всем красном, отправился в сторону лучей, испускаемых настоящей наукой, а Коля пошел доучиваться на лейтенанта.

Радинский был красив. А еще он был ленив и опрятен.

Холеное лицо с прищуром внимательных глаз. Капитан третьего ранга.

Белые руки с подстриженными ногтями.

Одного взгляда на него хватало на то, чтобы понять: этот за очередное воинское звание пресмыкаться не будет. Курил он презрительно. Каждый жест артистичен.

За ним следили две сотни глаз, и он это знал.

Он мог управлять нами голосом, походкой, взмахом руки, фразой «я утомлен высшим образом».

Там, где появлялся он, от него немедленно ждали каких-то слов.

Его слова ловили. Их запоминали, ими козыряли.

Он мгновенно приучил нас к тому, что слова могут быть вкусными, значительными, к тому, что каждая фраза — это игра, каждый шаг — представление.

Мы все время ждали как он себя поведет, как пойдет, как подбежит с докладом к начальству, или, может, не подбежит, хотя по уставу положено подбегать, как доложит — тут важна любая деталь.

Тут учишься ее уважать.

Эта деталь скажется потом на отношении к тебе подчиненных. Они же как собаки. Им важны оттенки, оговорки.

Он шел к строю, и мы уже знали, что все серьезно, что началась работа, что сейчас будет дело.

Он перед строем мог быть резок, а мог быть и игрив — тогда строй улыбался, строй веселился, восхищался, не пойми чем.

Наверное, им.

Им все восхищались.

Так думалось нам.

Радинский был с флота. На его фоне все были калеки. Он пришел с должности «помощник командира корабля». И этим кораблем была подводная лодка.

Как химик мог быть помощником? Непостижимо. В те времена это еще было возможно. Потом такое безобразие прекратили.

Ему предлагали должность старпома, но на Дальнем Востоке. В те года подобным образом вежливо напоминали о том, что структура в вас больше не нуждается.

Северяне не шли на Дальний Восток.

Радинский отказался и очутился в училище.

Уже после выпуска я узнал, в чем там было дело. Радинского не пропускал особый отдел. У него мама была полячка, и она до пятидесятих годов не меняла подданства.

Полячка с Западной Украины.

В училище он учился на тройки. Я видел его училищные фотографии. Со снимков того времени в наше время смотрела настоящая шельма. Нахальный, насмешливый взгляд.

Я научился у него этому взгляду, и как только я это сделал, меня лишили Менделеевской стипендии.

Была такая стипендия — тридцать семь рублей — дикие деньги. Я ее получал месяца три, как круглый отличник.

Потом сняли.

Чем-то я не понравился заместителю начальника факультета по политической части, капитану первого ранга Ибрагимову.

Может, ляпнул что-то — это я мог.

Может, подбежал не так подобострастно — это я тоже мог.

А может, я над ним посмеялся при свидетелях — это у нас запросто.

Капитан первого ранга Ибрагимов, произнося все равно что вслух, всегда про себя добавлял «еби его мать», что угадывалось по губам. Так что в речи, посвященной великому празднику освобожденных женщин 8 марта, он на трибуне сказал это раз триста: «Дорогие женщины, еби его мать, сегодня, еби его мать, мы все празднуем ваш день, еби его мать...»

В зале были дамы. Я веселился от души.

Меня вызвал Радинский — четвертый курс, я — командир на младшем курсе и уважаю себя.

Я вошел, представился.

Он мне с порога, тоном, не терпящим возражений:

— Вы лишены Менделеевской стипендии.

Удар неожиданный и сильный, но я спокоен, чего мне это только стоило.

Наверное, он проверял меня на это спокойствие. В училище все время кто-то кого-то на что-то проверяет.

Я сказал: «Есть. Разрешите идти?»

— Официальная версия: поносил, дай другим поносить.

— Есть, товарищ командир, разрешите идти?

Он помолчал, потом говорит:

— Восточная месть.

Так он мне сказал, что стипендии меня лишил Ибрагимов.

Потом, при выпуске, когда выясниться, что мне не дадут золотую медаль, хотя можно подсуебиться и пересдать курсовой по механике — там на самом-то деле «четыре», — и даже не пересдать, а просто сходить и попросить.

А еще надо попросить на кафедре тактики морской пехоты — «Вы там, юноша, тоже напачкали».

А еще на кафедре политэкономии — «Не любите вы социализм, плохо сдаете его экономику».

Все этого говорил мне Радинский, на что я ему сказал, что просить не пойду.

— Значит, медали не будет?

— Значит, не будет, товарищ командир.

— Хорошо, идите.

И я вышел.

С политэкономией социализма действительно когда-то произошел скандал. Я сдал ее на «три». Преподавала нам эту экономическую красоту педагог-женщина, и она мне что-то сказала о том, что я — запрограммированный отличник, на что я ей немедленно заявил прямо на экзамене, что она вправе ставить мне такую оценку, какую я заслуживаю.

Тогда командир Раенко ходил и просил для меня «пять», а потом он меня вызвал и наорал на меня, а в ответ я на него наорал — сам не знаю как это получилось, а Раенко вдруг стих и сказал: «Ладно, идите!» — и тут мне стало советно, я понял, что ему эти унижения тоже поперек горла, и унижался он, в общем-то, из-за меня, а я тут стою перед ним и показываю какой я гордый, что глупо, конечно, потому что человеку все это, как нож в печень. Тогда я, уходя, сказал: «Извините меня, товарищ командир», — на что он мне сказал: «Ладно, давай!» — и махнул рукой.

Радинский при выпуске пробовал просить за меня начхима ВМФ — я отличник, может, в центральном аппарате найдется место.

Не нашлось — я отправился месить бетон на Северном флоте. Я не жалею. Может, мне и надо было помесить бетон с полгодика.

Через полгода я попросился на лодки.
На берегу я все равно бы не высидел.
Не мое.

Радинский учил нас, как надо себя держать перед строем, что говорить, как двигаться, что надо сделать в первую очередь, придя на флот, как себя вести в разных ситуациях, что это за ситуации.

По-своему он предохранял нас от этой жизни. Мы ему многим обязаны. По сути, он в кубрике, под видом трепа, читал нам такие лекции, какие нам никто не мог прочитать. Он был свежий, с флота, это чувствовалось, это не отнять, он это нажил своим горбом, теперь вот делится.

Важно было его только слушать, потому что не все он говорил для идиотов. Он не разжевывал. Понял — твое счастье.

Это была наука выживания. Ее нам никто не преподавал.

Чем-то он напоминал Чаадаева, что ли... «Чаадаев, Чаадаев, ты гусарский офицер...»

Радинский подарил нам при выпуске несколько дней отпуска — оформил отпуск с понедельника, а отпустил с четверга. Он не жадничал.

Мы этими лишними днями наслаждались: море, солнце, женщины, горячий песок. В нем можно утонуть, зарыться, забыть все, пустив под веки солнечных зайчиков.

После купания я ложился на песок под тен-том и сейчас же засыпал. Мне снилось нечто восхитительное, замечательное, ласковое, как дыхание девушки на щеке.

В один из своих отпусков я приехал к родным в Баку, пришел в училище и встретился с ним, с Радинским. Он уже преподавал на кафедре физической химии, а я был старшим лейтенантом.

Было жарко и дул ветер. В Баку он почти всегда дует три дня, потом наступает жара на столько же, и опять ветер — с пылью, с запахом сосен.

Мы выпили коньяка.

У Радинского квартира была там же на Зыхе, недалеко от училища на первом этаже.

Кажется, я сразу напился.

Мы говорили, говорили, ему надо было говорить. Признались друг другу, что любим тактику. Только я ее любил как бы вообще, а он — с картами.

— Вот карта сражения под Москвой. (Немедленно развернул.) Того самого, с «двадцатью восьмью героями панфиловцами». «Враг не пройдет, позади Москва». Что это? Это фальсификация. Не могут люди в таком количестве противостоять танкам. Знаешь, чем они были вооружены? «Коктейлем Молотова» — бутылками с зажигательной смесью. А что было написано на каждой бутылке? «Будь героем». И инструкция. По ней надо было танк подпустить на пять шагов...

И они подпускали танк на пять шагов, потом вставали и шли на него...

Какой танк позволит приблизиться к себе на пять шагов? Их же всех выкосят пулеметами!

И выкашивали!

Что это? Это психологическое оружие. Немцы должны были понимать, что они воюют с биороботами. И они понимали...

Я тоже понимал. Кивал. Хотя иногда возражал, не очень вразумительно.

— ... Там полегло не двадцать восемь человек. Там их тысячи лежат. Сотни тысяч. Я считал. Танки шли по костям. Как в ужасном фантастическом фильме. Девять наших на одного немца. Это потери? Это идеология. Никого не жаль. НИКОГО! Русская армия непобедима, потому что никого не жаль. Это у нас с Чингисхана. Он гнал перед собой на стены пленных, а за их спинами штурмовал и так спасался от стрел. Чем тебе не штрафные батальоны? Наши это усвоили. Никого не жаль. Вот принцип. И это навсегда...

Радинский раскраснелся, глаза его горели. Он нашел того, кому он мог высказаться, и он высказывался.

— ... Потому что, если есть танк Т-34, то он появляется только в сорок третьем. И если есть автомат ППШ — то в нужное время его не сыскать. У нас армии пропадали «без вести». Под Сталинградом сколько окружили и в плен взяли? В кино показывали — до горизонта. И это их «до горизонта» — триста тысяч. В самом начале войны наших в плен брали по миллиону за раз...

— ... Надо, чтоб голыми руками. Им надо, чтоб мы брали врага голыми руками. Вот в чем дело.

Или к дате. Ко Дню Всеобщей Солидарности Трудящихся Берлин надо брать. Для этого нужен Жуков, а Рокоссовский не нужен. Жуков положит людей сколько потребуется. Чтоб все видели — мы до Англии дойдем. Мы до Америки дотащимся. Нам плевать. Голыми руками. А потом песню — «за ценой не постоим». Им нужна была песня ...

— ... Социализм отстает. Безнадежно. Ему не угнаться. Ему нечего противопоставить — у них всегда будет лучше техника. Тогда что же будет лучше у нас? Что у нас? У нас — «голыми руками». Этой красоте капитализму нечего противопоставить. У них все деньги, страховка, суды. Их по судам затаскают. А у нас суды — как надо. И всеобщее молчание во имя всеобщего блага. Мы идем к катастрофам. У нас будут гигантские потери, потому что все не впрок. У нас нет опыта. Он нам не нужен. Мы на пулеметы побежим и на амбразуры ляжем. У нас мертвый лучше живого. Живой с ним никогда не сравнится. Мертвый ценней...

— ... Флот еще увидит гибель своих кораблей. Увидит. Лодки, лодки... эти будут тонуть, гореть, опять тонуть... Нам ничего не служит уроком...

Потом нас прервали. Через лоджию в комнату влез его сын — первокурсник. Он пришел к папе в самоход, покушать.

— Ваше? — спросил Радинского я.

— Мое, — сказал он.

В его голосе слышалась немножко гордость, немножко любовь.

Сын его разговаривал так, что сразу становилось ясно — не дотягивает до отца.

Но может, со временем.

А может, я слишком строг.

На следующий день все были трезвые. Я подошел к Радинскому:

— Олег Михайлович, желаю вам здравствовать.

Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Надеюсь».

В первый раз после выпуска я виделся с ним на севере года через полтора.

Он привозил курсантов на практику и жил на нашем ПКЗ (сокращенное от плавказармы).

Я на этом ПКЗ жил где-то год. У меня там из каюты все вещи постепенно украли.

Приходишь с моря — и нет у тебя ничего.

Его каюта была рядом с моей.

С ним жил еще один капдва.

Странно видеть своего командира, который теперь привозит на практику других.

Это, наверное, выглядит так, как если бы подростки с удивлением смотрели на свою мать, у которой теперь почему-то новый выводок.

Они сидели в каюте на диване в кремовых рубашках без галстука, абсолютно трезвые, и пели в два голоса: «Я ха-чу, чтоб жи-ли ле-бе-ди!..» — а иллюминаторы было видно море.

Море, море... с белыми барашками. Иллюминатор закроешь (для чего надо опустить стекло в массивном железном ободе, поднятое, оно крепится сверху), накинешь на него такие специальные штуки, их тоже называли барашками, закрутишь их, затянешь-задраишь... если обожмешь слегка, ветер не дает спать, свистит в щели. Просто надо сильнее обжимать... А зимой под этим стеклом намерзает лед...

Он умер, не дожив до пятидесяти.

Сперва он развелся с женой и перевелся из училища обратно на север.

Там он служил на огромном химическом складе, начальником.

Потом умер. Неизвестно от чего.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТЬ

Ветер, сосны над головой. Они часто мне снятся. Я даже чувствую их запах.

Густой, как аптечная настойка.

В училище множество сосен в два обхвата.

Запрокинешь голову и — небо цвета ультрамарин виднеется сквозь ветки.

Северный ветер — бакинский норд. Так его здесь называют. Он трое суток гонит пыль, от него на зубах песок.

— Равняйся! Смирна!..

Я командую взводом. Это третий взвод, бывшие радиохимики. Теперь нет радиохимиков.

На младшем курсе только общие химики.

Сперва я у них был командиром отделения, потом стал замкомвзвода.

Это были хорошие ребята. Как потом через много лет мне скажут: «У вас на флоте был хороший человеческий материал».

Михалев, Васильев, Ерохин поступали из суворовского училища.

Васильев потом отчислился. Не устраивал его флот. Не соответствовал его идеалам.

А Михалев с Ерохиным доучились.

Мы у них на курсе были младшими командирами вместе с Толиком Денисенко. Потом Толю сделали старшиной роты. Толя стал выпивать,

люди это видели. Что-то в Толе сломалось, не выдержал он. Я пытался с ним говорить.

У меня во взводе был Серов. Сынок. «Сынками» называли тех, у кого папа был капитан такого-то ранга и мог попросить за сына.

Может, я был к этому парню слишком строг, не знаю, сынков мы не любили — все служат как люди, а этих ластят. Я даю ему «неделю без берега», а папа приходит, и его отпускают в увольнение.

Тогда я даю ему еще одну «неделю без берега». «Месяц без берега» давать было нельзя. Интересно, где он теперь — этот Серов?

Самым лучшим был Серега Ветров — исполнительный, добрый парень.

Он дружил с Керимовым — закадычные были друзья.

Серега попал служить на склады в Северодвинск. Там он спился. И друг его бросил. Я встретился с ним в Северодвинске. Приходил к нему в гости.

Он тогда очень быстренько набрался, а потом плакал у меня на плече, все вспоминал про училище, говорил, что они нас очень любили.

Я гладил его, как маленького, по головке и говорил, что все у него будет хорошо.

Серегу потом убрали, уволили в запас «за дискредитацию высокого офицерского звания».

— Курсант Харчиладзе!

— Я!

Этот — невероятный балбес и болтун.

Как-то он мне нахамил, я схватил его за грудь в коридоре, приподнял и долго бил его о стену спиной.

Потом я пошел к командиру роты капитану третьего ранга Паровенко и сказал, что я не могу быть командиром на младшем курсе, потому что я ударил подчиненного.

Паровенко мы все считали недотепой, но он выслушал меня очень серьезно и сказал: «Я буду ходатайствовать о вашей замене».

Через день меня заменили.

Я попал снова в свою роту — там уже командовал Буба.

Дело в том, что обе наши роты на пятом курсе объединили, и командиром объединенных рот у нас стал Радинский, а он немедленно сделал старшиной роты не нашего Колю Видасова, а «варяга» из дозиметристов — Бубу.

Я с Бубой сейчас же сцепился, но до драки не дошло. На стороне Бубы выступили дозиметристы, по-нашему, «дозики», которых мы всегда считали недоумками.

На моей стороне не выступил никто — конфликт погас, Буба так Буба.

Потом я встретил его в том же Северодвинске, куда все приходили на отстой.

Буба был жалок, от пьянства у него плохо работали почки.

Во мне он сочувствия не нашел.

На пятом курсе писали дипломы. У меня была работа по сорбции радиоизотопов на фосфатцеллюлозе.

По тем временам наши лаборатории были неплохо оборудованы.

Помню, как мне давал консультацию начальник кафедры радиохимии.

— Николай Николаич! Цезий не садится.

Тот, думая о чем-то своем, загадочно:

— Дол-же-н сесть!

Вот и вся консультация.

Раз должен, значит сядет.

Цезий у меня сел.

Тогда входил в моду метод математической оптимизации. Мне его поручили, и я им моментально овладел.

Сначала планировалось, что с использованием этого метода будет только мой диплом, потом куда-то позвонили, и оттуда дали указание, чтоб подобный метод использовался при защите диплома во всем классе радиохимии. То есть, беда, то есть, у всех.

Я скоренько прочитал своим собратьям лекцию, рассказал о методе, но времени оставалось мало, и тогда я сделал эту несчастную оптимизацию для каждого диплома.

За банку сгущенки.

Ох, и поел я сгущенки напоследок, ох и поел!

А с Камнем мы договорились не на сгущенку, а на плакаты.

Ему ничего не стоило плакатным пером навалить лишней десяток демонстрационных схем.

Камень у нас в роте все время писал стенгазеты, лозунги и плакаты.

А Стукалов мне банку сгущенки зажал, и я с ним последние полгода не разговаривал.

Договорились же: я сделаю, а за тобой банка!

Был еще государственный экзамен по научному коммунизму. Там меня спросили, что такое «советский патриотизм». Я ответил, что это любовь к родине. Тогда меня спросили: чем отличается советский патриотизм от патриотизма американского. Я сказал, что ничем. Оказывается, отличается. «Советский» предполагает еще и любовь к коммунистической партии.

На выпуске мы в классе написали мелом на доске: «До пенсии двадцать лет!»

Было жарко. Мы в белых лейтенантских тулупах только что произведены в офицеры.

Нас собрали в столовой пятого курса.

Ее только выстроили и в ней только-только начали давать на завтрак дополнительное яйцо.

На выпуск приехал первый заместитель главкома адмирал Касатонов.

Свита его держалась почтительно, училищные клерки порхали, а мы, застегнутые в горло, изнемогали от палящего зноя.

Желтые пятна от пота остались на той моей лейтенантской тужурке навсегда.

Нам позволено было выпить по бокалу шампанского. К нему полагался «свадебный обед» с мясом.

Распаренный красноликий Касатонов романтически смотрел вдаль.

В разгар обеда прозвучала команда: «Заместитель главкома разрешает вам... (мы застыли в надежде на снятие галстука) расстегнуть (галстук?)... верхнюю пуговицу...» — блядь! Это он о рубашке.

Мы расстегнули не только верхнюю пуговицу. Мы расстегнули все пуговицы снизу и все равно чуть не сдохли.

Вечером у нас был свой банкет. С песнями и пьянством.

Мы получили по две лейтенантские полочки, а это четыреста рублей, я столько денег сразу в руках никогда не держал. Я вручил их бабушке — она тоже не знала, что с ними делать. Все ходила по квартире, зажав в руке.

Мы купили на них одежду для моих младших братьев, а на дорогу на север и на какое-то время там я заработал тем, что месяц отпуска подрабатывал грузчиком.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Вместо предисловия.....	7
Отстрел личного состава.....	9
Белое безмолвие.....	11
Отдание воинской чести.....	14
Смущение.....	15
Светофор.....	17
Будущее.....	18
В док.....	19
Чп.....	20
Петров.....	23
Там же.....	24
Дядя Хабибулина.....	25
Леха.....	27
Налету.....	28
Железо.....	32
Груши.....	32
Так, ни о чем.....	33
На большом Козловском.....	34
Бабы Кобзева.....	37
Спать.....	40
Митинг.....	41
С моря.....	43
Физика.....	44
Чай.....	44
Восемь минут, десять секунд.....	46
Урок литературы.....	50
В море.....	52
Черт.....	54

РАССКАЗЫ «НИЖНЕГО»

Снегурочка.....	59
Об опере.....	61
Балкон.....	61
Средняя Азия.....	63
Заслуженный.....	64
Толя.....	66
Про лошадь.....	67
Анекдот.....	68
Эксцентрики.....	69
Армия.....	70
Слоны.....	73

НЕСКОЛЬКО ЗАРИСОВОК

Первая.....	79
Вторая.....	81
Третья.....	81
Четвертая.....	82
Пятая.....	84
Шестая.....	85
Седьмая.....	86
Восьмая.....	87
Письма.....	88

СИСТЕМА

Глава первая.....	103
Глава вторая.....	116
Глава третья.....	126
Глава четвертая.....	135

Глава пятая.....	148
Глава шестая.....	158
Глава седьмая.....	168
Глава восьмая.....	178
Глава девятая.....	187
Глава десятая.....	195
Глава одиннадцать.....	204
Глава двенадцатая.....	212
Глава тринадцатая.....	221
Глава четырнадцать.....	230
Глава пятнадцать.....	242
Глава шестнадцать.....	254

П 48 Александр Покровский. Система. Рассказы и роман. СПб.: ООО «ИНАПРЕСС», 2004. — 265 с.

УДК 882 ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 5-87135-151-4

В новой книге Александр Покровский предлагает читателям свои сочинения последнего времени. Среди них — короткий роман «Система». Так зовется закрытое заведение, где молодых людей, будущих офицеров-подводников, учат жить по законам доблести и жертвенности. Как они существуют там, как понимают друг друга и мир, как неумолимое время поглощает их, повествует автор, исследуя оттенки и особенности существования в среде, где сила и давление жизни вместе с человеческой множественностью и слабостью составляют единое вещество.

Покровский А. М.

СИСТЕМА
рассказы и роман

Подписано в печать 19.09.04.

Формат 84×108/32. Гарнитура Петербург.

Печать высокая. Усл. печ. л. 17. Уч.-изд. л. 16,5.

Доп. тираж 7000 экз.

Заказ № 450.

Издательство ООО «ИНАПРЕСС»

СПб., Невский пр., 74,

inapress@peterlink.ru

Отпечатано с фотоформ

в ФГУП «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР»

Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



В новой книге Александр Покровский предлагает читателям свои сочинения последнего времени.

Среди них — короткий роман «Система».

Так зовется закрытое заведение, где молодых людей, будущих офицеров-подводников, учат жить законом доблести и жертвенности. Как они существуют там, как понимают друг друга и мир, как неумолимое время поглощает их, повествует автор, исследуя оттенки и особенности существования в среде, где сила и давление жизни вместе с человеческой множественностью и слабостью составляют единое вещество.

ISBN 5-87135-151-4



9 785871 351512